

Элизабет Вернер

Руны



Элизабет Вернер

Руны

«Public Domain»

1903

Вернер Э.

Руны / Э. Вернер — «Public Domain», 1903

«Жатва была в разгаре, и поля пестрели крестьянами, убирающими хлеб. Золотые колосья еще не скошенной пшеницы переливались волнами, а уже связанные снопы едва ли были когда-либо роскошнее и тяжелее. Эту картину мирной сельской страды ярко освещало августовское солнце; на ясном летнем небе не было ни облачка...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 22 |
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 41 |
| 8 | 47 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 48 |

Эльза Вернер

Руны

1

Жатва была в разгаре, и поля пестрели крестьянами, убирающими хлеб. Золотые колосья еще не скошенной пшеницы переливались волнами, а уже связанные снопы едва ли были когда-либо роскошнее и тяжелее. Эту картину мирной сельской страды ярко освещало августовское солнце; на ясном летнем небе не было ни облачка.

Впрочем, пейзаж отличался лишь скромной прелестью северогерманской равнины, и старый помещичий дом, стоявший среди необъятных полей, выглядел эффектно только благодаря громадному парку, находившемуся позади него. Это было большое простое здание, построенное еще в начале девятнадцатого века, и внушительное впечатление создавали только длинный ряд окон да высокая крыша.

Обычно Гунтерсберг пустовал; его владелец, барон Гоэнфельс, сдавал принадлежащие имению земли в аренду, так как сам был государственным служащим. Только летом он приезжал сюда на несколько недель в отпуск. Вот и сейчас поднятые занавеси и несколько открытых окон верхнего этажа свидетельствовали, что барон дома.

Лучи вечернего солнца ярко освещали большую угловую комнату, меблировка которой вполне соответствовала общему виду старинного, солидного, но чопорного и простого дома. Красные занавеси, такая же обивка на мебели давно полиняли; единственным украшением стен служили несколько фамильных портретов, а над камином висела старинная картина, писанная масляными красками и изображавшая родословное древо Гоэнфельсов со всеми его разветвлениями.

Двое мужчин, находившихся в комнате, оживленно разговаривали. Один из них, лет сорока с небольшим, с легкой проседью в волосах, имел внешность аристократа. Черты его лица были холодны и серьезны, а глаза как будто пронизывали насквозь.

Так смотрят люди, привыкшие доходить до самой сути и в делах, и в отношениях с людьми. Внешний вид его собеседника, приблизительно тех же лет, обличал помещика, мало соприкасающегося с городской жизнью; коренастый, приземистый, с выражением полнейшего довольства и добродушия на загорелом лице, он сидел, развалившись в кресле, и говорил с легким упреком:

– Да, давненько мы с тобой не виделись, Гоэнфельс! Уже год, как ты не был здесь, и даже не писал. Правда, у правительственных чиновников никогда не бывает времени для нас, скромных провинциалов, они заняты большой политикой, которая всегда была твоим коньком.

– У меня действительно не было времени, – ответил Гоэнфельс. – Ты знаешь, меня рвут на части, а Гунтерсберг в хороших руках, ты сам рекомендовал мне теперешнего арендатора.

– Конечно, твой арендатор – прекрасный человек и знает свое дело, но мне это все-таки не подошло бы; я хочу сам быть хозяином и господином на своем клочке земли. В свой Оттендорф я никогда не пушу арендатора.

– У тебя совсем другая натура, Фернштейн, ты помещик до мозга костей, меня же эта роль не удовлетворяет. Хочется чем-то отличаться от других и что-нибудь значить, а здесь...

Пожатие плеч и взгляд, брошенный в окно, дополнили эти слова. В окно была видна мирная, но бесконечно скучная, однообразная картина: только поля да луга, да кое-где островки леса, а на некотором отдалении – церковь и деревенские домики; под понятие «жизнь» эта обстановка решительно не подходила.

Фернштейн, ближайший сосед по имению и друг юности барона, засмеялся и ответил с добродушной иронией:

– Еще бы! У нас тут ведь сельская идиллия, а это никогда не было в твоём вкусе. Ты ведь первый в министерстве после своего начальника и сам скоро будешь министром.

– Ну, скоро не скоро, но когда-нибудь – весьма вероятно, – спокойно ответил барон. – Впрочем, ты еще не знаешь, что привело меня сюда на этот раз: умер Иоахим.

– Иоахим? Твой брат?

– Три недели тому назад. Вести с дальнего севера идут ужасно долго. С ним случилось несчастье на охоте из-за неосторожного обращения с ружьем, так, по крайней мере, мне пишут. Впрочем, скоро я узнаю подробности.

– Вот как! – медленно проговорил Фернштейн. – Умер на чужбине!

– Да, умер, погиб! – утвердительно кивнул Гюэнфельс.

– Ты, кажется, очень спокойно относишься к смерти единственного брата? – заметил хозяин Оттендорфа.

– Для меня он уже давно умер, – ответил барон. – Он бросил семью, родину, друзей, ушел с ненавистью в сердце; после этого естественный конец – умереть одному на чужбине.

– Да, это был крест для всех вас, – согласился Фернштейн. – Но, пожалуй, вам следовало бы обращаться с Иоахимом иначе: он не выносил строгости, а вы сослали его сюда, в Гунтерсберг, да еще устроили этот брак. Он довершил дело; разве могла такая горячая голова, готовая померяться силами с целым светом, выдержать в таком уединении да еще в окопах такого брака?

– Это была последняя попытка спасти Иоахима для семьи. Ведь к тому времени он уже сделал свое пребывание в полку совершенно невозможным – барон Гюэнфельс, открыто симпатизирующий анархистам! Мы надеялись, что здесь он образумится, и хотели удалить его от опасных влияний, от которых не смогли уберечь в Берлине. Наш план не удался.

– Этот брак на твоей совести, – заметил Фернштейн. – Гениальный сумасброд Иоахим и... не в гневе тебе будь сказано, Гюэнфельс, твоя невестка со своим древним графским титулом была набитой душой!

Барон поморщился; грубое замечание явно покорило его, но он ответил спокойно:

– Ей было всего шестнадцать лет, когда она стала невестой. В этом возрасте умственную ограниченность нетрудно принять за девичью застенчивость и незнание жизни, и я сделал эту ошибку. Не отрицаю, план женитьбы брата исходил от меня, но Иоахим этого не знал. Малейшая попытка заставить его чем-нибудь заняться вызывала в нем бурю негодования, но он влюбился в хорошенькую девушку, еще полу-дитя, и принялся мечтать о том, как поцелуями разбудить этот нежный бутон, чтобы он распустился и превратился в прекрасный цветок, ведь он все воспринимал по-своему. Но когда он увидел, что цветок оказался без аромата, мечтам пришел конец, и его уже не могли удержать ни брачные узы, ни родившийся у них ребенок, и он слепо, не рассуждая, ринулся навстречу гибели. В конце концов, мы должны еще радоваться, что он покинул родину, иначе нам пришлось бы пережить еще что-нибудь похуже.

– Все-таки жаль! – вполголоса заметил Фернштейн. – Такой красивый, смелый юноша, всеобщий любимец!

– Что же, ведь он нашел так называемую свободу, ради которой всем пожертвовал, – резко возразил Гюэнфельс. – Он порвал «рабские цепи» традиций, семьи и воспитания ради того, чтобы жить среди простых людей на севере. И еще вопрос, как все было на самом деле; мне подозрительна эта внезапная смерть!

– Неужели ты думаешь...

Фернштейн не договорил, но их глаза встретились, и они поняли друг друга без слов. Несколько минут длилось молчание, наконец барон сказал:

– Я получил только известие о смерти. Рансдальский пастор сообщает мне о ней несколькими короткими, формальными фразами. Очевидно, ему было известно, кто такой Иоахим и откуда он, потому что на письме стояло мое полное имя и адресовано оно в Гунтерсберг.

– А мальчик? Бернгард? – спросил Фернштейн.

– Он вернется, наконец, в семью, – с ударением ответил Гоэнфельс. – И то уже плохо, что мы были вынуждены хоть на время оставить его с отцом. Энергичная женщина удержала бы сына возле себя – после всего, что произошло, этого можно было бы добиться; но моя невестка была лишена даже материнского чувства. Шалун-мальчик только мешал ей спокойно жить; надо было уговаривать ее и подталкивать, чтобы она что-то делала; но неожиданно явился Иоахим и забрал сына, и она уступила без сопротивления. Правда, тогда было уже поздно что-либо делать, он требовал лишь удовлетворения своего отцовского права.

Он замолчал, потому что дверь приоткрылась, и еще по-детски звонкий голос спросил:

– Можно войти, папа?

Фернштейн, быстро обернувшись, произнес:

– Это мой мальчик! Он приехал за мной. Войди, Курт.

В комнату вошел красивый, стройный мальчик лет пятнадцати с темной кудрявой головой, свежим, открытым лицом и блестящими глазами. Он без всякой робости и смущения подошел к барону и протянул ему руку.

– Здравствуй, дядя Гоэнфельс!

Барон окинул его удивленным взглядом.

– Какой ты стал большой, Курт!

– Ты не видел его два года, – вмешался отец, – с тех пор, как он учится в Ротенбахе, в заведении Бергера. Он уже, так сказать, перерос домашних учителей, а так как нынче от молодежи требуется так называемое высшее образование, то я и поместил его туда. Собственно говоря, это глупо: их пичкают там латынью да греческим, а зачем они ему? Ну, да ладно, пусть мальчик пройдет эту канитель, а потом я пошлю его на два года в высшее сельскохозяйственное училище, чтобы он выучился там чему-нибудь разумному и практическому; ведь он со временем должен будет принять под свое руководство Оттендорф.

– Я не буду заниматься сельским хозяйством, ты это знаешь, папа, – заявил Курт очень твердо.

– Ты опять за свое? Выкинь эту дурь из головы! Говорю тебе, из этого ничего не выйдет.

– Ты не хочешь быть хозяином на земле? Кем же ты будешь? – спросил барон.

– Моряком! – воскликнул Курт. – Я хочу увидеть весь мир! Я поступлю на флот и, конечно, стану адмиралом!

– «Конечно»? Ты метишь довольно высоко, но это хорошо: надо всегда ставить себе цель повыше, тогда будешь продвигаться вперед.

– Ты еще поддерживаешь его в этой глупости? – с гневом спросил Фернштейн. – С тех пор, как мальчишка погостил у моего шурина в Киле, он только и думает об этом проклятом море! Он разгуливал по всем пароходам, катался в лодке под парусом и вбил себе в голову, что станет моряком. Но я этого не потерплю; я уже десять раз говорил ему это!

– В таком случае я сбегу, папа, – объявил Курт с полнейшим спокойствием, – даже если мне придется стать юнгой. Я поплыву прямо на тихоокеанские острова к каннибалам и пришлю тебе оттуда открытку.

– Только посмей! – вспыхнул отец. – Ты воображаешь, что я отпущу единственного сына подвергаться опасностям? Насмотрелся я на это в Киле, моряки лазят по реям, как кошки! Стоит упасть, и нога сломана. Да еще, пожалуй, акула съест.

– Я не упаду, – возразил Курт, – а на акулу мне наплевать.

– Коротко и ясно! Ты должен оставаться на суше! – решительно заявил отец. – Твое место в Оттендорфе! Прошу без глупостей!

– Ступай пока в парк, Курт, – вмешался Гоэнфельс, – мне надо еще поговорить с твоим отцом.

Курт вышел из комнаты, но едва переступил порог, тут же снова просунул голову в дверь и крикнул:

– Я буду моряком, папа, и баста!

– Ах ты, проклятый мальчишка! – и отец с гневом сорвался с места, но дверь захлопнулась, и мальчик убежал.

– Твой сын, кажется, не особенно с тобой почтителен, – сухо заметил Гоэнфельс. – «Сбегу»! И он смеет говорить это тебе в глаза!

– Он еще подумает, прежде чем в самом деле сделает это, и я не посоветовал бы ему пробовать. Сумасбродная мальчишеская фантазия, ничего больше! В таком возрасте всем им хочется удрать из дому и обрыскать весь мир. Я сумею с ним справиться, если дойдет до этого.

– Да, уж без этого не обойдется! Боюсь, твой Курт из тех, которым не сидится на своем клочке земли. Почему, собственно, ты не хочешь уступить его желанию?

– Этого только не доставало! Что же тогда будет с Оттендорфом, старинным родовым именем, в котором хозяйничал еще мой дед? Неужели ты хочешь, чтобы после моей смерти оно попало в чужие руки, было продано, а деньги растрачены? Моя дочь выйдет замуж и уедет Бог весть куда, а мальчик должен остаться при мне, и уж я сумею сделать из него хозяина. Почтения-то у него, действительно, маловато. Когда я сержусь, он только трясется от хохота и под самым моим носом кувыркается через голову.

– И тогда ты хохочешь вместе с ним, – прибавил Гоэнфельс. – Я бы иначе воспитывал его. Он бойкий мальчик и полон энергии. Если бы он был моим, я многое отдал бы за это.

В последних словах послышалась грусть. Фернштейн сочувственно кивнул головой.

– Да, действительно, судьба отказала тебе в сыне, а для тебя это особенно важно, потому что Гунтерсберг – майорат. А как теперь здоровье твоей дочери?

– По-прежнему. Это для нас источник постоянной тревоги. Мы уже перепробовали всевозможные средства, но ничто не помогает. Доктора толкуют о слишком восприимчивой нервной системе, о малокровии и тому подобных вещах и утешают нас обещанием, что с возрастом девочка окрепнет, но пока она остается все такой же слабой, а ведь она у нас одна.

Впервые в голосе барона дрогнуло сдержанное волнение, но он быстро изменил тему разговора:

– Оставим это, все равно ничего не изменишь. Мне надо поговорить с тобой о важном деле. Я послал за Бернгардом в Рансдаль своего секретаря, на которого могу вполне положиться, и жду его возвращения на будущей неделе. Но, как нарочно, именно теперь мне необходимо отлучиться – это поездка по служебному делу, и я должен ехать вместо министра, а моя жена с ребенком еще на водах. Я хотел попросить тебя до моего возвращения приютить мальчика у себя в Оттендорфе.

– С удовольствием, – согласился Фернштейн. – У Курта каникулы и, значит, твой племянник найдет у нас себе товарища. Боюсь только, что он порядком одичал – все-таки отцовское воспитание...

– Я боюсь еще худшего, потому что, кажется, он унаследовал отцовскую кровь. С матерью, по крайней мере, раньше, у него не было никакого сходства. Но, как бы то ни было, его зовут Бернгардом фон Гоэнфельсом.

– Как и тебя. Ты ведь крестил его.

– А теперь я его опекун и позабочусь, чтобы он не пошел по пути Иоахима, – многозначительно прибавил барон.

– Ты же не сумел справиться с братом, – заметил Фернштейн.

– Потому что на него вовремя не надели узды. Все его ласкали и баловали, он был любимцем родителей, мог позволить себе все и все позволял другим. Когда его безумства начали

принимать опасный характер, было уже поздно. Бернгарду всего пятнадцать лет, с ним еще можно справиться, и я заставлю его слушаться, если понадобится.

– Ему придется-таки поплатиться за то, что он сын Иоахима, – с грубой откровенностью сказал Фернштейн. – Скажи честно, ты ведь никогда не любил младшего брата?

Между бровями барона появилась складка, когда он ответил:

– У нас были слишком разные натуры, чтобы мы могли понять друг друга. Иоахим, своевольный, непостоянный, был лишен всякого чувства долга и вечно впадал из одной крайности в другую, я же полная противоположность ему во всем. Когда мы были детьми, он насмехался надо мной, называя меня скучным, премудрым ментором, а позже, когда я стал настаивать, чтобы отец принял решительные меры, Иоахим возненавидел меня со всей страстностью своей натуры. Может быть, я был суров, но я не в состоянии снисходительно относиться к тому, как он порвал с нами, как растоптал ногами все, что нам было дорого и свято. Плохое наследство быть сыном такого отца, а между тем Бернгард – будущий владелец Гунтерсбергского майората. Я должен позаботиться о том, чтобы майорат не ушел из наших рук, и думаю, что еще не поздно.

В самом деле, эти слова дышали суровостью и непримиримостью; было видно, что даже смерть не смогла заставить барона все забыть или хотя бы смягчиться. Вдруг в открытом окне комнаты, находившейся на втором этаже, появилось смеющееся лицо, и звонкий голос крикнул:

– Здравствуй, папа!

Разговаривающие вздрогнули и обернулись в ту сторону. На внешнем выступе окна сидел Курт и преспокойно смотрел в комнату.

– Черт бы тебя побрал, да как ты туда влез? – вскрикнул ошеломленный отец.

– По шпалерам. Это совсем нетрудно!

С этими словами смельчак уселся поудобнее, скрестил руки и начал болтать ногами. На него страшно было смотреть.

– По таким тонким перекладинам! Ты с ума сошел! – крикнул Фернштейн. – Сию же минуту ступай в комнату!

– Я хотел только показать тебе, что умею лазить. Я не упаду! Я сбегу, папа! Я буду адмиралом! Ура! – и он исчез так же внезапно, как появился, ловко соскользнув вниз по водосточной трубе, а потом смело прыгнул на землю.

– Этот мальчишка своими шалостями уложит меня в гроб! – с отчаянием простонал Фернштейн, но барон, подошедший вслед за ним к окну и тоже видевший этот трюк, серьезно сказал:

– Отпусти его в море, все равно ты его не удержишь.

На его лице опять появилось выражение глубокой грусти, когда он смотрел вниз на цветущего, красивого мальчика, стоявшего теперь во дворе и шаловливо раскланивавшегося с ними, махая шляпой. Бернгард Гоэнфельс отдал бы все за то, чтобы иметь такого сына! Теперь его наследником становился сын отверженного, погибшего брата, к которому он не чувствовал не только искры любви, но даже простого расположения. Если он и брал мальчика на свое попечение, то только из чувства долга; он приносил эту жертву своему роду и будущему своего дома.

2

– Это невозможно дольше терпеть, Карл! Ты должен так или иначе вмешаться и восстановить спокойствие, или мы наживем еще какое-нибудь несчастье с этим дикарем. Этакую обузу навязал нам твой друг! Мальчик упорно твердит, что хочет уехать, и грозит сделать это, если ему не уступят. Он, пожалуй, еще подожжет дом!

Так говорила фрейлейн Фернштейн, сестра хозяина Оттендорфа. Но, по-видимому, она не сказала ему ничего нового, потому что он имел, правда, сердитый, однако никоим образом не удивленный вид, когда ответил ей:

– Ну-ну, авось до этого не дойдет, но, во всяком случае – история пренеприятная. Знай я заранее, какое сокровище посылает нам Гоэнфельс, то отказался бы; но дело в том, что я обещал и должен сдержать обещание.

Такое решение вовсе не успокоило фрейлейн Фернштейн, красивой особы лет тридцати пяти, руководившей домашним хозяйством своего брата-вдовца.

– Он взбунтует нам весь Оттендорф, – продолжала она жаловаться. – Никто из прислуги не хочет иметь с ним дело, потому что он постоянно разгуливает с заряженным ружьем и, того и жди, выстрелит, когда что-нибудь окажется не по его. В день своего приезда он уже забрался в твою комнату и без спроса вытащил из шкафа одно из твоих ружей – он, видишь ли, привык всегда иметь под рукой заряженное ружье.

– Это и видно! Я в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так стрелял, – заметил Фернштейн.

– А что он творил сегодня утром, пока ты был в поле! – продолжала его сестра. – Он вывел из конюшни Рыжего, надел на него уздечку и уехал на нем так, без седла. Лошадь к этому не привыкла, стала беситься, подыматься на дыбы, бить копытами. Я в страхе стояла здесь у окна, а люди собрались возле конюшни; мы ждали несчастья. Но посмотрел бы ты в это время на мальчика! Он мучил бедное животное до тех пор, пока оно не покорилося; лошадь дрожала после этого всем телом, а он соскочил на землю и насмешливо крикнул нам, что будет учить нас верховой езде.

– Да, сумасшедшая голова! – согласился Фернштейн. – Жаль, что я отпустил Курта погостить к лесничему, но ведь я ждал Бернгарда только через несколько дней. Секретарь ехал дни и ночи, чтобы поскорее сбить его с рук; видно, ему пришлось немало вынести дорогой. Впрочем, наш мальчик должен сейчас быть здесь... Да, вот подъезжает экипаж!

Он подошел к окну. Действительно, подъехал Курт; погостив несколько дней у сыновей лесничего, бывших товарищей по играм, он вихрем ворвался в комнату, порывисто обнял тетку и бросился к отцу.

– Вот и я, папа! Бернгард Гоэнфельс приехал? Я так рад, что у меня будет товарищ!

– Немного толку от такого товарища! Мы тут бедуем с этим бесноватым, свалившимся на нас как снег на голову. Спроси тетку, она вне себя.

– Это какое-то чудовище! – вскрикнула фрейлейн Фернштейн и опять принялась перечислять прегрешения приезжего. – За два дня своего пребывания в Оттендорфе он успел перевернуть его вверх дном. Будь осторожен с ним, Курт! – закончила она. – Не раздражай его своим всегдашним подшучиванием, а то он накинется на тебя, как разъяренный медведь.

Курт в ответ на это лишь звонко рассмеялся.

– Быть осторожным? Вот еще! Однако мне хочется поскорее посмотреть на это «чудовище». Где именно оно водится?

– Мы отвели ему большую комнату для приезжих, и если только он не сумасшествует где-нибудь на дворе, то сидит там и дуется. Он непременно хочет уехать назад. Ты бы пошел с ним, Карл, ведь они еще незнакомы друг с другом.

– И не подумаю! Дайте мне, наконец, покой! – проворчал Фернштейн, берясь за газету, от чтения которой его оторвали.

– Конечно, папа, я и один потягаюсь с этим северным медведем, – весело воскликнул Курт. – Если я не вернусь, значит, он проглотил меня с кожей и костями, так и знай, тетя! – и он убежал.

Комнаты для приезжих были расположены в другом конце дома. С племянником барона Гоэнфельса несколько церемонились и отвели ему самую большую и красивую комнату с окнами в сад; но гость не оценил по достоинству такой любезности. Когда сын хозяина дома открыл дверь, Бернгард лежал врастяжку на кушетке, положив ноги на покрытую вышитой салфеточкой ручку и вперив взгляд в яркое летнее небо, которое было видно в открытое окно. Он не обратил внимания на вошедшего, хотя слышал, что кто-то вошел.

– Здравствуй! – сказал Курт для начала совершенно миролюбиво, но не получил ответа; молодой Гоэнфельс даже не повернул в его сторону головы. – Спишь ты, что ли? – спросил Курт, запирая дверь и подходя ближе. – Ведь глаза у тебя открыты. Я говорю тебе: «Здравствуй!» Ты не можешь ответить?

– Что тебе здесь надо? – повелительно проговорил Бернгард.

– Смешной вопрос! Я у себя дома, я Курт Фернштейн и только что вернулся из лесничества. Я узнал, что ты приехал. Но ты, кажется, порядочное сокровище!

– Оставь меня в покое! – пробурчал гость.

Однако на Курта это не подействовало. Он стал осматривать его со всех сторон так внимательно, точно какую-то диковинку.

– Тетка права: в тебе есть что-то медвежье, – сказал он, наконец. – А папа зовет тебя только бесноватым. У вас там, на севере, все такие дикие, что, как рассвирепеют, все кругом вдребезги. Мне хотелось бы посмотреть на это, потому я и пришел. Ну, начинай же! – и он, усевшись на стул, положил ногу на ногу и стал ждать взрыва ярости «бесноватого».

Бернгард сначала озадаченно смотрел на него, потом с гневом крикнул:

– Отстань! Убирайся! Я в тебе не нуждаюсь! Я хочу домой!

Это звучало вызывающе враждебно. Мальчики были ровесниками, но Бернгард был на голову выше Курта. Его фигура с могучим торсом дышала силой, но ни одной чертой своего лица он не напоминал того древнего, гордого аристократического рода, кровь которого текла в его жилах, и последним представителем которого он являлся. Правда, эти черты еще полностью не сформировались, что свойственно детскому возрасту, но у него они были другими, грубыми, неправильными, чем у сидевшего перед ним красивого, стройного мальчика, и производили отталкивающее впечатление. Густые белокурые волосы нависали на лоб так низко, что почти совсем закрывали его, а голубые глаза смотрели неприязненно, с угрозой. Кроме того, молодой Гоэнфельс говорил как-то странно, с твердым иностранным акцентом.

– Ты по-немецки и говорить-то, как следует, не умеешь, – засмеялся Курт. – Тебя еле поймешь, а между тем ты родился здесь, в Гунтерсберге, и будешь теперь жить у нас.

– Но я не хочу! – упрямо ответил Бернгард. – Попробуйте удержать меня! Я убегу.

– Убежишь? – переспросил Курт. Это слово затронуло в нем родственную струнку. – Я тоже хочу убежать, только не сейчас – пока меня еще не возьмут на морскую службу. А почему ты хочешь непременно уехать? Тебе у нас не нравится?

– Да, – хмуро ответил Бернгард. – У вас тут невыносимо; ничего, кроме освещенных солнцем полей да скучных жнецов; ни гор, ни леса, ни скал, ни моря, как у нас дома, в моей Норвегии. Там мой дом, и я вернусь туда!

– Скажи-ка это твоему дяде, уж он тебе объяснит, где твой дом. Он сказал, что твое место в Гунтерсберге; а что он скажет, то и будет. Ты его еще не знаешь. Вот мой папа тоже злится, когда я завожу речь о том, что хочу быть моряком, но мне на это наплевать, я знаю, как с ним поладить. А вот с твоим дядей это сложно. В этом ты скоро убедишься.

– Да я знать не хочу ни его, ни его Гунтерсберга! – пылко заявил мальчик. – Я ненавижу их, как и всю вашу жалкую Германию!

– Послушай, это ты оставь! – с гневом перебил его Курт. – Стыдись бранить собственное отечество! Если ты еще раз скажешь...

Он с угрозой поднял кулак, но Бернгард презрительно посмотрел на него сверху вниз.

– Уж не хочешь ли ты со мной драться? Берегись!

– О, это мы еще посмотрим! – задорно ответил Курт с полной готовностью к бою. – Посмей только еще раз сказать это мерзкое слово!

– Жалкая она, ваша Германия, жалкая!..

Дальше Бернгард ничего не успел сказать, потому что Курт уже налетел на него. В следующую секунду они схватились врукопашную и колотили друг друга с величайшей энергией. Преимущество было, несомненно, на стороне ловкого, увертливого Курта; быстрыми движениями он всегда успевал вовремя увернуться, Бернгард же бил сослепу, большей частью не попадая в цель. Но, наконец, молодому Гоэнфельсу удалось-таки взять верх; он схватил своего противника, а раз тот попался ему в руки, никакая ловкость уже не могла помочь Курту – эта медвежья сила была ему не по плечу. После короткой схватки он уже лежал на полу, а Бернгард, тяжело дыша, стоял, наклонившись над ним.

– Вот тебе! – с торжеством крикнул он, оставляя противника. Курт вскочил, рассерженный своим поражением, но в то же время, глядя на победителя со своего рода восторгом.

– У тебя чертовски сильные кулаки! Теперь я, по крайней мере, знаю, как дерутся бесноватые. Ты, действительно, бесноватый!

Бернгард как будто принял эти слова за комплимент. Вообще это состязание подействовало на него успокоительно, и он великодушно ответил:

– Ты тоже хорошо дерешься, чуть не поборол меня. До сих пор меня никто не мог побороть, даже Гаральд Торвик, а он куда старше меня.

– Гаральд Торвик? Это кто такой? – спросил Курт, потирая левый глаз, на долю которого пришелся сильный удар кулаком.

Бернгард откинул волосы со лба и стал ощупывать вскочившую шишку.

– Торвики? Это наши соседи. Гаральд научил меня управлять парусом на море.

– На море! Я думал, что вы жили в горах.

– У фиорда. Там и горы, и лес, а проплывешь в лодке несколько часов – вот уже и открытое море.

– Ты расскажешь мне об этом! – с жаром воскликнул Курт. – Я тоже хочу идти в море, но папа утверждает, что я буду хозяином здесь и стану управлять Оттендорфом; в этом отношении он упрям, как козел. Мне ничего не остается, как сбежать. Значит, ты вырос у моря? Случалось тебе испытать бурю? Ну, рассказывай же, рассказывай!

Он тут же забыл всю досаду по поводу своего поражения. Вообще предыдущее побоище, несомненно, оставило в обоих чувство взаимного уважения. Мрачный, озлобленный Бернгард сдался и стал рассказывать; сначала он говорил неохотно, отрывисто, но Курт буквально ловил каждое его слово, без устали задавал вопрос за вопросом и победил упорную сдержанность молодого Гоэнфельса. Мост взаимного понимания был наведен...

Час спустя появился Фернштейн, которого все-таки несколько беспокоила мысль об этой первой встрече; он знал своего шалуна-сына и был уверен, что тот непременно станет дразнить Бернгарда. К своему удивлению, он застал их мирно и дружески сидящими рядком и оживленно беседующими.

– Ну, что, познакомились? – спросил он.

– Познакомились, папа! – крикнул Курт, весело вскакивая с дивана. – Мы уже совсем друзья.

– Вот как! А что это у вас на лицах? – спросил отец, подозрительно переводя взгляд с одного на другого.

Под глазом у Курта красовался синяк, а на лбу у Бернгарда вздулась солидных размеров шишка.

– Это оттого, что сначала мы, конечно, подрались, – объяснил Курт таким тоном, точно это было совершенно в порядке вещей. – После обеда мы пойдем на пруд удить рыбу, Бернгард хочет попробовать поудить у нас. И он останется у нас в Оттендорфе; он мне обещал.

– Пока Курт здесь, – подтвердил Бернгард, – не дольше.

– Ну, там посмотрим, – сказал Фернштейн, обрадованный тем, что о бегстве больше нет речи. «К тому времени должен вернуться Гоэнфельс, – подумал он: – пусть тогда сам разбирается со своим племянником». – А теперь пойдемте: пора обедать, – прибавил он.

– Пойдем, Бернгард!

Курт подхватил под руку вновь обретенного друга, и тот охотно последовал за ним, тогда как раньше являлся к столу, хмурясь и ворча, а за столом говорил только, когда это было необходимо. Фернштейн покачал головой и, когда мальчики вышли за дверь, поймал свое детище и на минуту задержал в комнате.

– Ты колдун, что ли? Ведь медведь-то вдруг стал похож на человека!

– Что ты, папа! Ему еще далеко до человека, – объявил Курт убедительным тоном. – Если бы ты слышал, что говорит Бернгард, как он отзывается о своем отечестве! Отец научил его ненавидеть Гунтерсберг и все, что связано с ним... Сейчас, сейчас! Иду!

Последние слова предназначались Бернгарду, который ушел вперед и теперь нетерпеливо звал Курта. Тот вприпрыжку отправился догонять его, а его отец медленно последовал за ними. Он тоже уже слышал образчики таких речей, и его лицо омрачилось, когда он проговорил как бы про себя:

– Да, безобразное было воспитание! Иоахим ответит на том свете за то, что сделал с сыном.

3

Два сына последнего владельца Гунтерсберга были полнейшей противоположностью друг другу. Старшего, Бернгарда, серьезного и замкнутого, в юности не баловали особенным вниманием даже собственные родители, видевшие в нем лишь продолжателя своего рода; их любимцем был младший, Иоахим, красивый, пылкий мальчик с чарующе-привлекательными манерами.

Бернгард с согласия отца, лично управлявшего хозяйством в Гунтерсберге, поступил на государственную службу, причем само собой разумелось, что, когда судьбе угодно будет сделать его главой рода, он выйдет в отставку и также посвятит себя управлению имением. Иоахима готовили к военной карьере, и скоро перспективный молодой офицер сделался таким же баловнем берлинских кругов общества, каким, будучи ребенком, был в семье. На первых порах его сильно увлекала новая карьера, но его увлечения никогда не были продолжительны. Строгие требования и дисциплина на службе скоро стали казаться ему невыносимыми, и так как он обычно бросался из одной крайности в другую, то и увлекся социализмом, который тогда набирал силу.

Иоахим не делал тайны из своего «обращения», как он выражался, и, разумеется, это положило конец его военной карьере. Он вынужден был выйти в отставку, и дело тогда же дошло бы до непоправимого разрыва, если бы не вмешался старший брат. Беспечный Иоахим никогда не умел обходиться деньгами, находившимися в его распоряжении, постоянно залезал в долги, и родители всегда платили их, не сердясь серьезно на своего любимца. Теперь же ему отказали с условием, что он вернется в Гунтерсберг, и будет жить на глазах у отца; а в Гунтерсберге уже было наготове средство, чтобы удержать его дома: приличный во всех отношениях брак.

План оказался удачным сверх всяких ожиданий – Иоахим влюбился в предназначенную ему невесту, еще очень молоденькую девушку, с которой его весьма искусно сумели сблизить, не давая ему заметить, что это делается с намерением. Ему не дали времени ближе познакомиться с девушкой и поскорее отпраздновали свадьбу. Но именно то, что должно было спасти его для семьи, оторвало его от нее навеки.

Молодая женщина в духовном отношении была весьма посредственной натурой; ее мнение никогда не совпадало с мнением мужа; любви к нему она никогда не испытывала и скоро начала бояться его непомерной страстности. Все закончилось тем, что Иоахим возненавидел женщину, приводившую его в отчаяние своим полным непониманием и ограниченностью. Брак оказался крайне несчастным, и, наконец, Иоахим, бросив жену и ребенка, ушел, куда глаза глядят, и семья на несколько лет потеряла с ним всякую связь.

Старый владелец Гунтерсберга умер, его жена умерла еще раньше, и Бернгард стал хозяином имения. В то время как его брат, несмотря на все прекрасные задатки, губил свою жизнь и будущее, он уверенно поднимался по ступеням служебной лестницы и теперь уже занимал положение, сулившее ему блестящую карьеру. Поэтому никого не удивило, что он не вышел в отставку, а вместо этого сдал Гунтерсберг в аренду и остался в Берлине.

Он также женился (это был типичный брак по расчету) на девушке из аристократического рода, принесшей ему в приданое влиятельные семейные связи. Брак, тем не менее, оказался удачным; только в одном супругам было отказано: в горячо желанном наследнике. Барону это было особенно тяжело и горько, так как его дочь не имела прав на Гунтерсберг, с которым было связано все прошлое его рода; права оставались за Иоахимом, а в случае, если он пропадет без вести, за его сыном.

И вдруг однажды из маленького местечка, расположенного на самом севере Норвегии, пришла весть об этом брате. После долгих скитаний он, по-видимому, основался там и создал

себе своего рода положение; по крайней мере, он требовал к себе сына, жившего с матерью в Гунтерсберге. Бернгард от имени невестки отказался выдать мальчика и пытался утвердить за собой право его воспитателя, но Иоахим явился внезапно, как буря, забрал ребенка и увез его с собой. После этого не было никакой возможности оспаривать его отцовские права, и сын остался у него. Теперь, после его смерти (его жена умерла несколькими годами раньше), дядя стал опекуном племянника и вступал в свои обязанности с неограниченными правами.

В Гунтерсберге ожидали хозяев. Баронесса должна была приехать с маленькой дочерью на следующей неделе, а сам Гоэнфельс, ненадолго съездив в Берлин для доклада, уже приехал в отпуск. На следующее утро после приезда он сидел в угловой комнате с Фернштейном, явившимся из Оттендорфа, чтобы передать с рук на руки порученного ему мальчика. Его отзыв о сыне Иоахима был таким, что хоть кого привел бы в ужас, но барон и бровью не повел, слушая его.

– Это можно было предвидеть, – сказал он, когда Фернштейн закончил. – Может быть, это несколько хуже, чем я думал, но, в сущности, я ничего другого и не ожидал. Я знал, что Иоахим не научит сына любить меня и родину. Да дело-то пока не в этом – Бернгард должен научиться повиновению.

– Повиновению? Это слово ему неизвестно, – ответил Фернштейн. – Он должен вырасти свободным человеком, не ведающим о существовании традиций и не знающим, что такое воспитанность – вот что внушалось ему каждый день. Я рад, что могу передать его тебе целым и невредимым. Если бы не Курт, я не знал бы, что с ним делать.

– Так мальчики подружились? Я рассчитывал на это.

– Да, но началась у них дружба немножко странно: в первый же час знакомства они изрядно поколотили друг друга, но после этого стали друзьями до гроба. Курт имеет непонятное влияние на этого дикого малого; он один может заставить его образумиться, когда тот впадает в бешенство, и только в угоду ему Бернгард и остался в Оттендорфе.

– Я видел его последний раз десять лет тому назад, – заметил Гоэнфельс. – Ты говоришь, он не похож на отца?

– Ни капельки сходства. Иоахим был в его годы писанный красавец, а у Бернгарда отталкивающая внешность.

– А умственное развитие? Разумеется, и в этом отношении он сильно отстал?

– Смотря как на это посмотреть. В некоторых случаях он может просто испугать своей скороспелостью. Отец, кажется, обращался с ним, как с товарищем, и рассуждал о вещах, о которых ему не следовало бы и слышать. Но учился он, действительно, мало. Его учил рандальский пастор, и учил, кажется, неплохо, только мальчик ничего не почерпнул из его уроков. Он целые дни рыскал по горам да по фиорду, о каком-либо принуждении, разумеется, и речи не было; он делал, что ему нравилось. Я узнал все это исподволь от Курта. И сегодня я поневоле был вынужден взять с собой Курта, а то твой племянничек ни за что не поехал бы, он решительно не хотел ехать в Гунтерсберг.

– Не хотел, когда я его зову? – спросил Гоэнфельс самым резким тоном. – Вы, кажется, порядком избаловали его в Оттендорфе.

– Что же мне было делать? – пробурчал Фернштейн. – Сумасшедший мальчишка на все способен, когда что-нибудь не по его, а ведь я взял его под свою ответственность.

– Теперь ответственность на мне, – холодно сказал барон. – Прежде всего, я хочу видеть его.

Он позвонил и отдал нужное приказание лакею. Внешне Гоэнфельс был совершенно спокоен, но, взглянув на друга, Фернштейн почувствовал некоторую тревогу и принялся его уговаривать.

– Не будь слишком строг к нему; кажется, он так же, как и отец, не выносит строгости. Ведь, в конце концов, мальчик не виноват, что его так воспитали. Что ты думаешь делать с ним? Возьмешь с собой в Берлин?

– Нет. Твое письмо и доклад моего секретаря убедили меня, что тут необходимо основательное воспитание, а у меня дела поважнее, чем возиться с запущенным своевольным ребенком. Я отправлю его в Ротенбах, туда же, где твой Курт. Училище Бергера пользуется превосходной репутацией. Там строгая дисциплина?

– Очень строгая, просто военная. Моему ветрогону это не повредит, но Бернгарду... Он сбежит на первой же неделе.

– Этому сумеют помешать. Но вот и они!

Вошли мальчики. Курт с обычной непринужденностью поздоровался с «дядей Гоэнфельсом»; тот подал ему руку и обернулся к племяннику, остановившемуся у дверей:

– Подойди ко мне, Бернгард!

Приказание не подействовало: мальчик не шевельнулся.

– Ты не слышишь? Подойди ко мне!

Бернгард не двинулся с места. Но тут вмешался Курт; он схватил товарища за руку и энергично потащил его вперед, шепча:

– Будь же повежливее! Ты ведь обещал!

Это немного помогло; по крайней мере, Бернгард перестал упираться. Он стоял теперь перед дядей, а тот молча глядел на него, не протягивая ему руки; вероятно, он видел немую ненависть во взгляде мальчика, в свою очередь пристально смотревшего на него.

– Я был вынужден просить принять тебя на время в Оттендорфе, – заговорил барон. – Но теперь я рассчитываю прожить здесь довольно долго и скоро жду сюда жену и дочь. Ты переедешь к нам в Гунтерсберг.

– Нет, я не хочу в Гунтерсберг, – заявил мальчик.

– Вот как! Куда же ты хочешь?

– Домой! В Рансдаль!

– В Рансдале ты уже не дома, – сказал Гоэнфельс с холодным спокойствием. – Теперь твой дом – Гунтерсберг.

– Но я хочу уехать! – запротестовал Бернгард. – Я останусь только до тех пор, пока здесь Курт. Как только его каникулы кончатся, я тоже уеду.

– Ну, вот видишь? Он стоит на своем! – тихо сказал Фернштейн своему другу.

– Пожалуйста, оставь нас одних, – сказал тот, пожав плечами, – только на полчаса. Ты уж извини!

– Пойдем, Курт! – и Фернштейн сделал знак сыну, а, уходя из комнаты, озабоченно оглянулся.

– Ну, теперь начнется! Жаль, что я не могу быть здесь, – сказал Курт, когда они вышли за дверь. – Лучше бы дядя Гоэнфельс не удалял меня; меня следует прописывать Бернгарду вместо успокоительных пилюль, когда у него начинается припадок бешенства. Вот когда эти двое сцепятся, такой шум подымется!

– Это что за непочтительные выражения? – заворчал отец. – «Сцепятся!» Твоего закадычного приятеля научат, наконец, уму-разуму, вот что будет!

– Но раньше он разнесет вдребезги пол Гунтерсберга. Дядя Гоэнфельс рассчитывает управиться с ним за полчаса? Пусть попробует! Это не так-то легко.

– Дерзкий мальчишка! – сердито воскликнул отец. – Боюсь, что дело там выйдет серьезное. Гоэнфельс не умеет шутить в таких случаях.

– Он вообще не умеет шутить, – согласился Курт. – С ним я не справился бы, если бы он случайно оказался моим папашей.

– Вот как! Это что-то новое! Теперь уже сынки справляются с отцами! – гневно сказал Фернштейн.

– Не ворчи, папа! Если бы твоим сыном был Бернгард, тебе пришлось бы гораздо хуже. Мной ты можешь быть совершенно доволен, а я очень доволен тобой.

Это вышло так смешно, и при этом мальчик так весело посмотрел на отца, что тот расхохотался. Про себя Карл Фернштейн подумал, что его Курт – чертовски славный мальчик...

Тем временем в угловой комнате разворачивались события. Гоэнфельс продолжал сидеть, откинувшись в кресле, и заговорил только тогда, когда дверь за ушедшими закрылась.

– Ты знаешь, что я твой дядя и опекун. Чего, собственно, ты думаешь достичь своим ребяческим упрямством? Может быть, ты воображаешь, что я уступлю твоему «не хочу»?

Бернгард ничего не ответил, но стоял, готовый дать отпор; его лицо выражало нечто большее, чем простое мальчишеское упрямство.

Это не ускользнуло от внимания дяди, но он, не придав этому значения, спокойно продолжал:

– Ты будешь жить теперь совсем в других условиях и в другой обстановке и должен помнить об этом. Ты барон Гоэнфельс...

– Нет, я не барон, – грубо и решительно заявил мальчик. – Мой отец отказался от баронского титула, когда ушел отсюда. Он хотел быть свободным человеком, и я хочу того же; его звали просто Иоахимом Гоэнфельсом, а меня зовут Бернгардом Гоэнфельсом.

– Чего хотел твой отец и что сделал – за это он сам и ответит, – спокойно возразил барон, – а ты еще не можешь ничего хотеть, мальчику не предоставляют права решать такие вопросы. Сначала стань взрослым мужчиной, а до тех пор тебе придется еще много учиться. Насколько я знаю, ты отстал во всем, а у нас быть невеждой стыдно... Запомни это!

В его железном спокойствии и твердости было что-то поражающее, что-то властно требующее повиновения. Вероятно, упрямый мальчик почувствовал это, но именно этого он и не выносил, и уже нарочно стал дразнить дядю.

– Мне незачем больше учиться, – объявил он, вспыхивая, – отец сказал мне, что того, что я знаю и что умею делать, вполне достаточно для нашей свободной жизни в Норвегии. То, чему учат у вас здесь, – не что иное, как ложь и лицемерие. Ваше ученье делает из людей рабов.

– Хорошо выдрессировали! – сказал Гоэнфельс как бы про себя. – Трудную задачу подбросил нам твой отец! Итак, тебе незачем больше учиться? Ты, конечно, гордишься своими крепкими кулаками и непобедимой силой? Но ведь этим обладают все деревенские парни, только они принадлежат у нас к тому большинству, которое должно служить и повиноваться. Кто хочет быть кем-нибудь в жизни, тот должен уметь что-либо делать. Курт Фернштейн знает это и потому хорошо учится, хотя при его энергичном характере ему это дается нелегко; ты же от мужика далеко не уйдешь. Таким образом, когда со временем ты станешь владельцем Гунтерсберга, то окажешься на одном уровне со своими рабочими и, я полагаю, не будешь даже стыдиться этого!

Эти слова и презрительный тон оказали свое действие. Бернгард порывисто поднял голову.

– Что может Курт, то и я могу!

– Так докажи это! Удобный случай для этого у тебя будет. Время покажет, к чему ты имеешь склонность, и какую профессию выберешь, потому что все, чем ты занимался в Рандале – охота, верховая езда, плаванье в море – в сущности, есть лишь бездельничанье, которым впору заниматься лишь во время отдыха. Конечно, тебе нелегко будет привыкнуть к строгой дисциплине в Ротенбахе; до сих пор ты не знал даже такого слова, но у меня нет времени заниматься твоим воспитанием, и мне придется поручить его другим.

Тон, которым все это было сказано, исключал всякую возможность возражения. Бернгард слушал с недоверчивым изумлением, окаменев от неожиданности. Он едва ли имел какое-то

представление о жизни в учебном заведении, но слышал кое-что об этом от Курта и понял, что его хотят лишить безграничной свободы, к которой он привык, что он должен будет учиться, слушаться, подчиняться чужой воле. Этого было достаточно, чтобы привести его в состояние крайнего гнева.

– Ты хочешь запретить меня в школу? – закричал он. – Мне не дадут больше охотиться и плавать в лодке, я целыми днями должен буду сидеть в четырех стенах над книгами как Курт? Ты воображаешь, что я позволю надеть на себя цепи и добровольно войду в клетку, которую ты для меня выбрал?

– Добровольно или нет, но ты покоришься моему решению, – невозмутимо ответил Гоэнфельс.

– Никогда! Ни за что! – Мальчик в бешенстве топнул ногой. – Я не хочу! Ты подчиняешь себе всех, кто попадет тебе в руки, я знаю это от отца. Ты и его хотел поработить, но он разорвал оковы и швырнул их тебе под ноги, так и я сделаю! Он ненавидел тебя, ненавидел всех вас и страну, где родился, и он был прав!..

– Замолчи! Довольно! – с угрозой перебил его дядя. – Если бы я не знал, что ты повторяешь слова отца, я выбил бы из тебя эти безрассудные речи; теперь же я только говорю тебе, что со мной они неуместны. Ты теперь на моем попечении, берегись!

Но Бернгард презрительно расхохотался.

– Ты прибежишь ко мне, если я сию же минуту не стану просить прощения? Попробуй! Не приходи ко мне! – крикнул он вне себя. – Не трогай меня! Если ты только поднимешь руку, то я...

– Что же ты сделаешь? – спросил Гоэнфельс, приближаясь к нему, но Бернгард отскочил и вспрыгнул на подоконник раскрытого окна.

– Я спрыгну вниз! Клянусь Богом, я это сделаю!

Это было то самое окно, на котором Курт недавно показывал свое искусство лазить. Влезть и спуститься вниз, уже было смелым фокусом, прыжок же с этой высоты на вымощенный камнем двор грозил смертью или увечьем. Произнося свою угрозу, мальчик не шутил, это было очевидно. Он стоял на подоконнике со сжатыми кулаками, с выражением решимости в глазах. Стоило сделать к нему один шаг, и он исполнил бы свою угрозу. Гоэнфельс не сделал этого шага. На его лице не дрогнул ни один мускул; он строго посмотрел на племянника, как укротитель на пойманного зверя, и сказал ледяным тоном:

– Прыгай!

Бернгард, очевидно, не ожидал этого и растерянно посмотрел на дядю.

А тот продолжал тем же тоном:

– Может быть, ты думаешь испугать меня своим воображаемым геройством? Если ты поломаешь себе руки и ноги о камни и останешься на всю жизнь жалким калекой, это – твое дело. Я тебе не мешаю.

Взгляд мальчика скользнул вниз, во двор. Вероятно, теперь он убедился, что так оно и будет, а о таком исходе он вовсе не думал, когда готовился выпрыгнуть из окна.

– Сойди с подоконника, – сказал Гоэнфельс. – Как видишь, такими угрозами и выходками от меня ничего не добьешься. Или ты, может быть, хочешь подражать своему отцу?

Бернгард одним прыжком очутился в комнате и остановился перед дядей в вызывающей позе.

– Не смей ничего говорить против отца! – гневно закричал он. – Я не потерплю этого! Он умер, умер, как свободный человек на свободной земле!

– И от собственной руки, – прибавил Гоэнфельс.

Бернгард невольно замолчал. Очевидно, он не понял еще значения этих слов, но почувствовал в них что-то зловещее.

– Ну да! Мы были на охоте, он держал ружье в руке, вдруг оно выстрелило, и таким образом случилось несчастье.

– Это не был несчастный случай, – сказал барон с резким ударением, – это было самоубийство.

– Это неправда! Это ложь! – с гневным криком вырвалось мальчика. – С ним никого не было! Гаральд нашел его уже мертвым!..

– Нет, Гаральд Торвик был свидетелем. Он вышел из чащи неожиданно для твоего отца и видел, как тот, уперев ружье в землю, приставил дуло к груди; не успел молодой человек подбежать, как грянул выстрел, а когда Гаральд позвал тебя, все уже было кончено.

Действие этих слов было страшным. Несколько секунд Бернгард стоял, не двигаясь с выражением крайнего ужаса в застывших глазах, но потом всеми силами восстал против того, что казалось ему невозможным, немислимым.

– Это не может быть правдой! Ты хочешь запугать меня! Гаральд сказал мне, что это был несчастный случай.

Невыразимая тоска слышалась в этом крике, во взгляде, который, казалось, требовал, чтобы дядя взял свои слова обратно, но Гоэнфельс мрачно покачал головой.

– Он хотел пощадить тебя. Торвик вообще никому не рассказывал о том, что видел; он признался только пастору с глазу на глаз, а последний счел своей обязанностью сообщить правду мне.

– Нет! Нет! – твердил Бернгард, с отчаянием. – Отец не делал этого! Он не мог так поступить со мной! Он никогда, никогда не ушел бы от меня сам!

– Он ушел по своей воле. Ты все еще не веришь? Так напиши Гаральду, напиши пастору; когда они узнают, что тебе все известно, то не станут дольше скрывать от тебя истину. А пока я даю тебе слово, что это правда.

Страшная правда убедила, наконец, мальчика, но из его глаз не упала ни одна слезинка, он не произнес ни слова; послышался только глухой звук, точно стон раненого зверя.

Наступило продолжительное молчание, а когда Гоэнфельс заговорил, в его голосе звучало с трудом подавляемое волнение.

– Я хотел пощадить тебя, но твое невероятное упрямство лишило меня возможности выбора. Теперь тебе все известно. Видно, очень плохо пришлось твоему отцу, если он не нашел другого выхода. У него ведь был ты, даже если со всем остальным на свете он порвал; но душевные муки, отчаянье вследствие сознания непоправимости разрыва с прошлым оказались сильнее и вынудили его схватиться за смертоносное оружие. Я хочу спасти тебя от подобной участи. Я предупредил тебя.

Ответа не было, да барон, казалось, и не ждал его. Он медленно повернулся и вышел из комнаты.

Фернштейн сидел с сыном в гостиной и с удивлением посмотрел на Гоэнфельса, когда тот вошел один.

– Где же Бернгард? – спросил он.

– Он придет потом. Курт, пойди к своему приятелю, может быть, он нуждается в тебе сейчас.

Курт вышел на этот раз без всяких дерзких замечаний; когда дядя Гоэнфельс имел такой вид, как сейчас, он чувствовал к нему почтение, которое никогда не умел внушить ему отец. Но и последнему лицу друга, видно, не понравилось.

– У вас был неприятный разговор? – поинтересовался он. – Ты поладил со своим горячей?

– Да, мне пришлось пойти на крайность, но, я думаю, это помогло.

– Если только ты не ошибаешься. Может быть, ты покоришь его своей воле в данную минуту, но он еще наделает тебе хлопот, у него в голове только Рансдаль.

– Теперь уже нет. Едва ли он будет настаивать на возвращении в Рансдаль, теперь его пугает воспоминание о нем.

– Воспоминание? Но ведь он не знает...

– Как умер его отец? Знает. Я сказал ему.

– Ребенку? Это жестоко!

– Но необходимо, – сказал Гоэнфельс. – В этом отношении он уже не ребенок, а сын своего отца. От него только и слышно было: «Так сказал отец!», «Этого хотел отец!». То, что говорил, что делал отец, было для него свято, а сумасбродная жизнь, которую вел Иоахим, казалась ему геройством. Я поверг его кумира; теперь он знает, к чему привело это геройство. Я очистил в его голове место для рассудка.

– Таким средством? Он только еще больше возненавидит тебя после этого.

– Весьма вероятно! Но в этом мальчишке есть что-то, чего у Иоахима, при всей его пылкости, никогда не было, – энергичная воля. Надо только направить ее в нужное русло. Может быть, понадобится еще много лет борьбы, но, я полагаю, потрудиться стоит.

В голосе барона чувствовалась теплота, которой он никогда еще не выказывал, говоря о племяннике. Вероятно, он чувал, что в этом мальчишке, которого он до этого дня почти ненавидел, было что-то родственное ему.

Между тем Курт отправился в угловую комнату. Впрочем, он смотрел на происходящее с юмором. Наверно, дядя с племянником сильно повздорили, и последний впал в очередной припадок бешенства, а теперь бушевал во всю. Курт приготовился действовать в качестве успокоительных пилюль, но, когда он вошел, у него пропала всякая охота шутить. Бернгард стоял на коленях перед большим креслом, уткнувшись лицом в подушку; он не двинулся и тогда, когда Курт подбежал и начал трясти его за плечо, спрашивая:

– Что случилось? Что с тобой?

Ему пришлось повторить вопрос два раза, прежде чем он получил ответ, и то едва слышимый:

– Оставь меня! Уйди!

– Да отвечай же! – закричал Курт, вдруг испугавшись. – Меня прислал дядя Гоэнфельс; что он тебе сделал?

Бернгард поднял голову и медленно встал; казалось, ему надо было сначала сообразить, где он и с кем говорит.

– Ничего! Я хочу остаться один, уйди!

Это был уже не прежний повелительный тон; голос звучал глухо, сдавленно; и лицо было не прежнее – грубое, упрямое детское лицо; в нем появилось что-то, сделавшее его на несколько лет старше.

Курт никогда не видел таким своего товарища. Нежность вообще была им не свойственна, они разве колотили друг друга в знак особой дружбы, но теперь Курт вдруг обеими руками обнял Бернарда за шею и воскликнул:

– Но ведь это я, Курт! Мне ты можешь сказать!

Тон был такой сердечный и выражал такое теплое участие и страх, каких никак нельзя было ждать от этого резвого мальчишка. Под влиянием этого лед, наконец, растаял.

– Мой отец! – воскликнул Бернгард. – Зачем он бросил меня одного? Зачем он оставил меня ему?

Это были одновременно жалоба и обвинение. Он уткнулся головой в плечо Курта и рыдался.

Его отец! Это был единственный человек, которого он любил, любил особенной, исключительной любовью, со всей пылкостью, унаследованной от него же; и этот отец ушел от него добровольно, хотя знал, что оставляет сына одного на свете и что тот попадет в руки глубоко ненавистного ему брата. И все-таки он ушел, не вынеся жизни, которая стала для него мукой,

опротивела ему. Бернгард был еще слишком молод, чтобы понять эгоизм и бесхарактерность человека, лишившего себя жизни, когда он обязан был жить для сына, которого сначала оторвал от родины, а теперь бросил на произвол судьбы. Его кумир пал, но если бы Гоэнфельс видел взгляд безграничной ненависти, которая загорелась в глазах его племянника при этой обращенной к отцу жалобе: «Зачем ты оставил меня ему?» – то понял бы, что борьба, на которую он решился, будет не из легких, а может быть, никогда и не закончится.

4

Ветер, бушевавший в последние дни, стих. На море установился штиль; ярко светило полуденное солнце северного летнего дня. Пароход из Бергена, держа курс на север, плыл почти у самого берега. Так как летом пассажиров всегда больше, то сейчас он был переполнен, и на палубе группами сидели и стояли путешественники. Ландшафт не представлял ничего особенного: вдоль скалистого берега тянулись низкие горы, на которых виднелись отдельные усадьбы и поселения побольше; со стороны моря можно было рассмотреть целый лабиринт маленьких островков, расположенных то поодиночке, то группами в виде скал, поросших мелким кустарником. Только на севере, но еще очень далеко, темнели высокие горы.

На носу стояли двое молодых людей; один был в форме моряка германского флота, другой же, в дорожной куртке, гамашах и с биноклем на ремне, очевидно, принадлежал к числу туристов. Они были заняты оживленной беседой, так как это были два школьных товарища, которые не виделись несколько лет; теперь случай свел их на борту норвежского парохода.

– Будет ли когда-нибудь конец этой монотонной веренице скал? – нетерпеливо спросил молодой моряк. – Не на чем глазу остановиться, а море и не колыхнется!

– Слава Богу! – заметил другой. – Довольно уже оно наколыхалось в течение нашего переезда! Буря трепала нас дни и ночи.

– Какая там буря! О небольшом ветерке, который встретил нас в Северном море, не стоит и говорить. Посмотрел бы ты на океан, когда он вздумает разгневаться! Правда, тебе уже и от этого пустяка пришлось несладко, ты лежал в каюте целый день, и еле оправился от морской болезни, только сегодня с тобой можно, наконец, поговорить по-человечески. Ну, как же тебе жилось все это время, Филипп? Мы ведь не виделись с тех самых пор, как уехали из Ротенбаха, а это было много лет назад.

– Целых шесть лет, – подтвердил Филипп. – Мне нечего и задавать тебе такой вопрос, Курт; тебе, разумеется, жилось хорошо, это видно по тебе.

– Да, неплохо. За это время я успел избороздить все моря земного шара и теперь – не шутите, господин Филипп Редер! – перед вами лейтенант корабля его императорского величества «Винета», – и он, вытянувшись в струнку, взял под козырек.

Из хорошенького, стройного мальчика, когда-то мечтавшего непременно стать адмиралом, вышел не менее красивый офицер, моряк, смело и весело смотревший на мир Божий своими темными глазами. По загорелому лицу можно было определить, что он успел уже познакомиться с тропическим солнцем, а к темным вьющимся волосам, выбивавшимся из-под фуражки, прибавились усики, украсившие верхнюю губу. Филипп Редер тоже был красивый молодой человек, но он сильно проигрывал рядом с жизнерадостным моряком. На его бледном лице застыло какое-то горькое выражение, а в глазах было что-то меланхолическое, не вязавшееся с его молодостью. Он держался немножко сгорбившись и говорил медленно, тихим голосом, хотя его внешность не производила впечатления болезненности.

– Да, ты всегда был счастливчиком, – сказал он. – В Ротенбахе ты был общим любимцем, тогда как у меня не было ни одного друга.

– Потому что ты ни с кем не уживался, – договорил Курт. – Когда кто-либо из товарищей закатывал тебе оплеуху, ты чувствовал себя глубоко оскорбленным, садился надувшись в угол и часами размышлял над тем, как скверно устроен мир. Я же относился к этому проще: я закатывал в ответ две оплеухи, а иной раз и три, а потом мы опять становились друзьями. Хотя дело не всегда ограничивалось оплеухами. Сколько раз я дрался даже с лучшим своим другом, Бернгардом Гознфельсом! Ты, конечно, помнишь его?

– О, конечно! Сумасбродный мальчик, к которому нельзя было подойти без того, чтобы он сейчас же не начал драться. Ты был единственным человеком, ладившим с ним; вы были

неразлучны. Гоэнфельс собирался поступить на флот, и это действительно то, на что годится этот бесноватый, как ты его называл. Но ведь из тебя хотели сделать помещика, значит, твой отец, в конце-концов, уступил твоему желанию?

– Не совсем, потому что я настоял на своем. Я довольно часто грозил этим своему папаше, но он никогда не верил, чтобы я говорил серьезно. Бернгард прямо из Ротенбаха с согласия своего дяди поступил на морскую службу; ему все пути были открыты. Я же должен был ехать в Берлин отбывать свой год воинской повинности в качестве вольноопределяющегося. Но мы вдвоем уже составили свой план военных действий. Папа снабдил меня всеми нужными бумагами, и я просто отправился с ними к Бернгарду и вместе с ним определился на Морскую службу. Потом я написал домой и почтительнейше заявил отцу, что поступил не в драгуны, а в моряки. Вот-то поднялся шум в Оттендорфе! Папа хотел, было сию же минуту ехать, чтобы взять меня обратно, но потом одумался, а я тем временем написал и дяде Гоэнфельсу. Тот, правда, отчитал меня письменно страшнейшим образом за мое непослушание, но в душе, я думаю, был на моей стороне. Во всяком случае, он уговорил папу, объяснив, что сделанного уже не вернешь.

– Ты говоришь о министре? – спросил Филипп. – Разве ты с ним в родстве?

– Собственно говоря, нет, но он друг юности моего отца и наш ближайший сосед по имению, отсюда и пошло это прозвище «дядя». Однако вернемся к тебе, Филипп. Какой именно важный государственный пост ты имеешь честь занимать? Ты собирался изучать право.

– Да, я изучал право, но служить в каком бы то ни было ведомстве, отказался, меня не устраивают условия службы. Так долго приходится ждать, пока станешь кем-нибудь!

– И потому ты предпочел остаться никем? Что ж, твое состояние, конечно, позволяет тебе это, но мне наскучило бы бесцельно шататься по свету. Это не удовольствие.

– Удовольствие! – повторил Редер с глубоким вздохом. – Разве жизнь вообще – удовольствие? Мне она принесла лишь разочарование и горе.

– В твои-то двадцать пять лет? – насмешливо проговорил Курт. – Впрочем, ты всегда считал себя пасынком судьбы, хотя на самом деле тебе всегда удивительно везло. Полагаю, ты счастливый жених, а может, уже и муж? Я где-то читал объявление о твоей помолвке.

– Не говори об этом, с этим покончено, – мрачно перебил его Редер. – Да, я был помолвлен, но моя невеста изменила мне; она вышла за другого.

– На твоём месте я сразу же женился бы на другой, – заметил молодой моряк с полнейшим душевным спокойствием.

– Ты по-прежнему бессердечен и способен насмехаться решительно над всеми без исключения!

– Напротив, я глубоко сочувствую тебе, – заметил Курт совершенно спокойно. – Итак, твоя невеста бросила тебя? Как же это могло случиться?

– Ее уговорили родители; они силой настояли на нашей помолвке; она же любила другого, человека, не стремящегося ни к какой карьере, бедняка без гроша за душой. Но, в конце концов, она объявила, что не в силах забыть его, и я был принесен в жертву этому человеку.

– Обыкновенная история людей, у которых много денег, – заметил Фернштейн. – Отец с матерью ловят хорошую партию, а дочка бунтует. Не принимай этого так близко к сердцу, подыщи себе другую.

– Никогда! Я потерял веру в женщин, и они для меня больше не существуют.

– Жаль! А для меня они еще как существуют! Однако нам скоро придется расстаться, потому что я выхожу на следующей пристани.

– Неужели? Разве ты едешь не в Дронтгейм?

– Нет, в Рансдаль. Ты, вероятно, даже не слышал о таком городе? Охотно верю, потому что он находится совершенно в стороне от обычного маршрута туристов. Хочу навестить Бернгарда Гоэнфельса.

– Здесь, в Норвегии? Я думал, что он служит на флоте, как и ты.

– Служил. – По лицу Курта пробежала тень. – Он ведь всегда тосковал по Норвегии и хотел вернуться сюда, во что бы то ни стало. Пока дядя был его опекуном, он поневоле должен был жить у нас, но когда достиг совершеннолетия, для него стало лишь вопросом чести прослужить несколько лет. В нашем предпоследнем плавании на «Винете» он еще был с нами, но по его окончании вышел в отставку и вот уже год опять живет в Рансдале.

Он проговорил это несколько отрывистым, торопливым тоном и быстро оборвал разговор.

– Посмотри, Филипп, те вершины уже ближе к нам, там скоро должен открыться фиорд¹, а при входе в него – пристань. Ландшафт как будто меняется к лучшему.

Они перешли на среднюю палубу, где собралась большая часть пассажиров. Курт обратил все внимание на горы, очертания которых теперь ясно и отчетливо выступали из дымки. Редер сначала тоже направил на них свой бинокль, но потом принялся рассматривать общество путешественников; по-видимому, он кого-то искал и нашел, потому что его глаза все время направлялись в одну точку на палубе.

Немного в стороне от остальных сидела пара, очевидно, специально выбравшая это место, чтобы уединиться. Даме с хорошенькой фигуркой в светлом дорожном костюме было, видимо, лет двадцать, не больше; черты ее лица с розовыми щеками и светло-кариими глазами были довольно неправильны, но чрезвычайно пикантны и привлекательны; ее светло-каштановые волосы были завиты в мелкие локончики. Мужчина, находившийся рядом с ней, тоже был еще довольно молодым, но не особенно симпатичным. Очень высокого роста, белокурый и очень чопорный и степенный, он сидел как сторож возле своей спутницы, которая, казалось, была не в духе; на его замечания он получал лишь короткие и недовольные ответы, а чашка бульона, которую он велел подать, была отвергнута нетерпеливым движением руки; наконец, когда он вздумал придвинуть свой стул ближе к ней, потому что ему мешало солнце, она внезапно раскрыла свой зонтик с таким треском и так энергично, что бедняга отшатнулся в сторону и потерял нос, задетый кончиком спицы. После этого он старался держаться на почтительном расстоянии и утешился тем, что сам выпил не принятый ею бульон.

Школьные товарищи наблюдали эту маленькую сценку. Курт с трудом подавил улыбку.

– Ты заметил эту пару? – спросил Филипп вполголоса. – Они сели в Бергене. Я попробовал, было заговорить с дамой, но супруг сразу вмешался и объяснил мне знаками, что они не понимают по-немецки. Он буквально не подпустил меня к жене и поскорее увел ее подальше. Неприятный человек!

Курт окинул супругов критическим взглядом.

– Ты думаешь, это муж и жена?

– Разумеется! Кто же иначе? Однако она обращается с ним почти грубо, а он явно стережет ее. Он все время ходит за ней по пятам и выходит из себя, если ей кланяются. Просто тиран!

– Успокойся! – Моряк улыбнулся. – Ты же говорил, что женщины для тебя больше не существуют.

Редер на минуту смутился, однако быстро овладел собой и с чувством ответил:

– Для меня существуют все, кто страдает, потому что я сам страдал. Эта молодая женщина, без сомнения, – жертва обстоятельств; одному Богу известно, что свело их с мужем.

– Может быть, то же, что свело тебя со сбегавшей невестой. Впрочем, вся эта вымышленная тобой драма – не более как пустая фантазия. Прежде всего, это не муж с женой; если бы этот чопорный субъект имел права супруга, он не позволил бы так с собой обращаться. Во-вторых, эта молодая особа совершенно не похожа на жертвенного агнца: она защищается, по

¹ Фиорд – узкий и сильно вытянутый в длину, глубокий морской залив с крутыми и высокими берегами.

крайней мере, хоть зонтиком, ведь он хлопнул перед физиономией бедняги, как ракета. Тише, они идут!

В самом деле, дама поднялась и направилась как раз в ту сторону, где стояли два товарища; мужчина последовал за ней как тень. Она облокотилась на борт и стала смотреть вдаль, на горы, потом что-то потребовала у своего спутника, чего у него, очевидно, не было, потому что он с сожалением пожал плечами.

Тогда Курт без церемоний взял из рук товарища бинокль и с вежливым поклоном преподнес его даме, бегло проговорив по-норвежски:

– Вот, позвольте предложить вам, фрейлейн, отличный бинокль.

Дама, казалось, очень удивилась, услышав родную ей речь из уст немецкого моряка, но взяла бинокль и сразу направила его на какой-то определенный пункт.

– Что, собственно, вы ищете, фрейлейн Инга? – спросил ее спутник.

– Хочу рассмотреть, стоит ли у пристани пароход, который курсирует по фиорду.

– Разумеется, стоит. Ведь это остановка для тех, кто едет в Рансдаль. Но нас это не касается, так как мы едем в Дронтгейм.

Инга взглянула на него, и в ее глазах сверкнуло что-то вроде злорадства.

– Надеюсь, вам будет весело в Дронтгейме, господин Ганзен! – ответила она, а затем обернулась к моряку и возвратила ему бинокль. – Благодарю вас! Вы говорите по-норвежски; вероятно, вы уже не раз бывали в наших краях?

– Нет! Я еду к товарищу, но в Норвегии я впервые, и надеюсь скоро увидеть что-нибудь поинтереснее, чем этот бесконечный однообразный берег, которым мы любуемся все утро.

Барышне, очевидно, не понравилось это замечание, потому что она заявила с вызовом:

– Напрасно. Наши берега очень красивы!

– О вкусах не спорят, я нахожу их скучными. Я много перевидал и потому отношусь ко всему критически.

Инга, очевидно считавшая, что в ее отечестве надо восхищаться всем без исключения, бросила на него возмущенный взгляд и обратилась к Редеру с вопросом:

– Вы тоже так критически настроены?

Филипп, у которого так бесцеремонно забрали бинокль, напряженно вслушивался в разговор, хотя не понимал ни слова. Это прямое обращение к нему смутило его, и он беспомощно взглянул на Курта. Тот поспешил объяснить, что его спутник не знает норвежского языка.

– Так спросите его; я хочу знать его мнение, – сказала Инга тоном диктатора.

Моряк повиновался приказанию и обратился к своему школьному товарищу по-немецки:

– Эту барышню зовут Ингой, она не замужем, потому что этот белокурый ангел-хранитель, следующий за ней, некий Ганзен, называет ее фрейлейн. Так вот Инга желает знать, как тебе нравится ее родина. Скажи, что это рай; она будет довольна.

– Чудная, великолепная страна! – начал Филипп с восхищением к великому удовольствию Инги, угадавшей значение его слов по его тону и выражению лица.

– Он находит Норвегию чудной, великолепной страной, – перевел Курт, – хотя еще совсем не видел ее, так как все время лежал в каюте, страдая морской болезнью.

– Очень сожалею! – благосклонно ответила молодая особа – и очень жаль, что он не говорит по-норвежски. Переведите ему это.

– Барышня сожалеет, что ты не говоришь по-норвежски, – снова перевел Курт. – Ей хотелось бы поговорить с тобой, потому что она находит тебя в высшей степени интересным; особенно же ей нравится грустное выражение твоего лица. По-видимому, ты произвел на нее глубокое впечатление.

Филипп вспыхнул от удовольствия. Ему и в голову не приходило, до какой степени неточно был сделан перевод, и он поклонился с просиявшим лицом, приложив руку к сердцу. Между тем долговязый Ганзен с нескрываемым неодобрением слушал разговор, из которого

понимал только то, что было сказано по-норвежски, однако не осмеливался помешать ему – он все еще ощущал укол зонтика, но был явно очень рад, когда молодой моряк, наконец, простился.

– Честь имею кланяться! Я должен пойти позаботиться о своем багаже, потому что высаживаюсь на этой пристани; я еду в Рансдаль.

Услышав это название, Инга бросила на говорившего странный вопросительный взгляд, но только слегка наклонила голову, прощаясь, и направилась обратно к своему стулу, куда за ней поспешно последовал и Ганзен.

– Ты прекрасно говоришь по-норвежски! – завистливо заметил Редер. – Сколько же языков ты знаешь?

– Пока только три; английский у нас необходим, когда мы бываем в океанских колониях, а норвежскому я научился, разумеется, у Бернгарда; он сразу принялся учить меня, чтобы иметь удовольствие с кем-нибудь разговаривать на своем любимом языке. Мы часто упражнялись в нем, и теперь мне это пригодилось. Однако вот и мои вещи выносят наверх; сейчас мы остановимся.

Пароход, заходивший лишь в крупные города, дал сигнал на берег и замедлил ход в ожидании лодки, которую должны были оттуда выслать.

Курт с сожалением посмотрел на противоположную сторону палубы.

– Собственно говоря, очень жаль, что я именно теперь должен уехать: путешествие только начинает становиться интересным благодаря этому знакомству. Эта Инга какой-то боевой петушок! Как она взъерошила перышки, когда я осмелился назвать берега скучными, а потом без церемонии произвела меня в переводчики! У этой малютки есть темперамент!

– Ее зовут Ингой? Какое красивое имя! – воскликнул Филипп, мечтательно закатив глаза.

– И она не замужем! – договорил Курт. – Значит, тебе и карты в руки, у тебя впереди еще такой длинный путь до Дронтгейма, за это время ты успеешь упрочить произведенное тобой впечатление, потому что твой отказ от всей женской половины рода человеческого, по-видимому, допускает исключения.

Редер покачал головой с выражением мрачной покорности.

– Мне всегда не везет! Я ведь не могу разговаривать с этой Ингой, а тебя не будет, чтобы помочь мне.

– Видно, тебе очень понравился мой перевод? Попробуй объясниться при помощи мимики, в исключительном случае и это годится. Вот и лодка, я уезжаю. Прощай, Филипп! Может быть, мы еще раз встретимся; мы с Бернгардом намерены прокатиться на север, а ты ведь тоже едешь туда. Счастливого пути! – и Курт, пожав руку товарища, пошел к трапу, который был уже спущен.

Пароход остановился, и лодка причалила, чтобы принять пассажиров, высаживавшихся здесь. Около самого трапа стояла Инга с маленьким саквояжиком и пледом, перекинутым через руку, а рядом – навязчивый Ганзен. Он спокойно наблюдал, как спускали в лодку багаж, но вдруг подскочил на месте и закричал матросу, собиравшемуся отправить вниз довольно большой чемодан:

– Подождите! Вы ошиблись! Этот чемодан остается на пароходе, мы едем в Дронтгейм.

Ганзен рванулся вперед, но в ту же минуту маленькая рука Инги схватила его за полу сюртука и энергично удержала на месте.

– Оставьте, пожалуйста! Все в порядке; я так распорядилась еще при отъезде.

– Но... но ведь это ваш чемодан!

– Конечно. Я выхожу здесь; я еду в Рансдаль.

– В Рансдаль? – повторил Ганзен, явно не понимая.

– Да, к дяде, пастору Эриксену. Мои родители уже знают об этом; я им написала из Бергена. Мне очень жаль, но вам придется одному продолжать путь в Дронтгейм.

Тем временем чемодан был благополучно спущен вниз. Курт же стоял на ступенях, но с удивлением остановился и скорее, чем Ганзен понял, в чем дело; он быстро сбежал вниз, давая дорогу, и протянул руку поспешно следовавшей за ним девушке, чтобы помочь ей войти в лодку. Она впрыгнула в нее и уселась с чрезвычайно довольным видом. Ганзен все еще стоял у борта, точно окаменев на месте. Только когда он увидел, что отвязывают канат, к нему вернулся дар речи и способность двигаться; он бросился к трапу и с отчаянием закричал:

– Но, фрейлейн Инга!.. Ради Бога!..

Она кивнула ему с убийственно-ласковым видом.

– До свиданья! Желаю вам развлекаться в Дронтгейме, у нас там очень мило. Я приеду не раньше чем через месяц, а то, может быть, и позднее, до тех пор вы, конечно, уже уедете. Кланяйтесь моим! Счастливого пути!

Филипп Редер, который, разумеется, не понял ни слова и не мог объяснить себе эту сцену, тоже перегнулся через борт и крикнул вниз:

– Скажи на милость, Курт, что это значит?

Фернштейн взглянул на него тоже с чрезвычайно довольной физиономией и ответил:

– Фрейлейн Инга тоже едет в Рансдаль; мы едем вместе. До свиданья, Филипп! Счастливого пути!

Трап был уже поднят, пароход начал набирать ход и волны, которые он поднял, заколыхали маленькое суденышко. Инга завершила свое издевательство тем, что вытащила из кармана платок и принялась махать им, как будто это было самое нежное прощание, а Курт последовал ее примеру и тоже замахал платком. Они поплыли к берегу, тогда как пароход пошел своим курсом.

Двое покинутых стояли на палубе и смотрели вслед лодке, пока ее было видно; потом Ганзен вдруг запустил обе руки в свои желтые как солома волосы и, буквально шатаясь, направился к стулу, а Филипп Редер погрузился в мрачное уныние.

Опять невезение! Фернштейн, этот счастливчик, уехал с молодой особой, которую звали Ингой и которая была еще не замужем, а он... он сидел здесь, одинокий, покинутый, и ехал в Дронтгейм, потерявший теперь для него всякий интерес. С немой яростью Редер раскрыл путеводитель и принялся искать в нем Рансдаль. В самом деле, это место лежало в стороне, глубоко в горах, но должна же была существовать какая-нибудь возможность проехать туда из Дронтгейма!..

Лодке надо было проплыть порядочное расстояние до берега, но Инге не хотелось разговаривать. Когда пароход удалился, и она насладились триумфом, который доставил ей благополучно удавшийся «государственный переворот», она опять раскрыла зонтик, очевидно, служивший ей и наступательным и оборонительным орудием, и совершенно исчезла под ним. Однако Курт не дал себя запугать, он занял место напротив и начал разговор:

– Итак, нам с вами по пути!

– Оттого, что вам вздумалось ехать в Рансдаль, – почти негодуя прозвучало из-под зонтика.

– Извините, это вам «вздумалось»! Я с самого начала собирался в Рансдаль, вы же, насколько мне известно, как будто ехали в Дронтгейм.

– Мой план путешествия, в конце концов – мое дело.

– Совершенно справедливо, но позвольте мне считать счастливым случаем то, что он совпадает с моим.

Инга была, по-видимому, иного мнения. Она помолчала несколько секунд, потом вдруг спросила инквизиторским тоном:

– Как зовут товарища, к которому вы едете в Рансдаль?

– Бернгард Гоэнфельс.

– Да?! – изумленно воскликнула девушка, выглядывая из-под зонтика.

– Вы с ним знакомы? – спросил Курт.

– Лично – нет; его еще не было в Рансдале, когда я приезжала в последний раз. Вы, конечно, знаете, что он собирается жениться?

– Да, он помолвлен уже три месяца, – медленно ответил Курт, и по его лицу опять скользнула тень, как тогда, когда он упомянул в разговоре со школьным товарищем, что Бернгард вышел в отставку.

– Его невеста – Гильдур Эриксен, моя двоюродная сестра.

– В самом деле? Я слышал еще на пароходе, как вы упомянули фамилию. Значит, между нами оказываются совершенно неожиданные отношения!

– Между нами? – Инга сморщила носик и смерила Курта взглядом с ног до головы. – Разве вы родственник господина Гоэнфельса?

– Нет, но я его близкий друг.

– Это не отношения. Благодаря этому браку он действительно станет моим кузеном, вы же, господин...

– Курт Фернштейн, позвольте представиться.

– Вы, господин Фернштейн, как были, так и останетесь мне чужим.

– Слушаю-с! Всеми силами постараюсь оставаться для вас чужим!

Эта перепалка продолжалась бы и дольше, но Курт относился к ней без особого увлечения; он пристально смотрел на берег. Там, у пристани маленького местечка, стоял местный пароходик, поддерживавший сообщение между поселениями по берегам фиорда; он ходил всего два раза в неделю, и им пользовались почти исключительно местные жители. Неподалеку стояла кучка людей, поджидавших лодку, и теперь от нее отделилась высокая фигура мужчины; он подошел к самой воде и стал махать навстречу лодке. Курт вскочил так порывисто, что суденышко закачалось, и воскликнул:

– Бернгард! Это он!

Инга с любопытством смотрела на будущего родственника, собираясь задать несколько вопросов, но заметила, что все мысли ее спутника заняты его товарищем, ожидавшим его на берегу. Как ни странно, это показалось ей обидным, невзирая на ее настойчивое требование, чтобы он оставался ей чужим. Она снова удалилась в свой уголок, то есть под зонтик, и притихла.

Курт даже не заметил этого. Зачем было ему это дорожное знакомство теперь, когда он увидел Бернгарда?

– Бернгард! Добро пожаловать! – весело закричал он другу. Не успела еще лодка пристать, как моряк одним прыжком очутился на берегу, и в то же мгновение две руки крепко и порывисто обняли его.

– Курт, дружище! Наконец-то!

Инга наблюдала эту нежную встречу сначала с удивлением, потом с досадой, потому что на нее молодые люди не обращали ни малейшего внимания. Никто о ней не заботился, и ей не оставалось ничего другого, как подзвать матроса и велеть ему взять ее чемодан; потом она пошла одна по направлению к пароходу.

Наконец, после первых вопросов и ответов, Курт оглянулся и заметил, что лодка пуста.

– Боже мой! Куда же она девалась? – вскрикнул он.

– Она? О ком ты говоришь?

– О моей спутнице. Должно быть, она уже на пароходе, и я был таким невежей, что не помог ей.

– Узнаю моего Курта! – насмешливо проговорил Бернгард. – Вечно разыгрываешь из себя любезного кавалера.

– Не брать же мне пример с твоей прославленной нелюбезности! – ответил Курт в тон ему. – Впрочем, эта дама до известной степени касается и тебя, потому что она едет в Рансдаль к дяде, пастору Эриксену. Разве тебе ничего не известно об этом?

– Нет, – равнодушно ответил Бернгард. – Я несколько дней провел в море и приехал прямо сюда, чтобы встретить тебя. Очень может быть, что там кого-нибудь и ждут.

– Пока я знаю только, что ее зовут Ингой и что ее родители живут в Дронтгейме.

– Значит, это Инга Лундгрэн, племянница пастора. Я с ней еще не знаком.

– Так ты можешь познакомиться сейчас. Мы поедем на пароходе?

Бернгард презрительно пожал плечами.

– Вот еще! Он ползет как черепаха и останавливается у каждой пристани. Я с удовольствием отвез бы тебя на своей «Фрее». Вчера и третьего дня дул свежий ветер, и она весело летала в открытом море, но при таком штиле на парусной яхте недалеко уедешь. Пойдем, вот стоит мой экипаж.

– Конечно, я поступаю в твое распоряжение, – сказал Курт, несколько разочарованный, – но ведь тебе следует поздороваться с будущей родственницей, и мне хотелось бы...

– Это еще зачем? – нетерпеливо перебил его Бернгард. – На это будет достаточно времени и в Рансдале. К тому же она давно на пароходе, и он сейчас отойдет. Пойдем, мы поедем через горы; это всего часа два-три езды.

Он увлек друга к открытому экипажу, стоявшему неподалеку, велел уложить вещи Курта, взял вожжи из рук грума, пригласил друга сесть и сам сел с ним рядом. Лошадь побежала быстрой рысью, и скоро берег и дома местечка остались позади.

5

Дорога вела прямо в горы. Маленькая пегая лошадка бежала так резво, словно экипаж был для нее игрушкой. Мальчик-грум, расположившийся на узеньком заднем сиденье, беззаботно глядел на яркий летний день, но надо было обладать необыкновенной ловкостью, чтобы усидеть на этом крохотном местечке, которое так трясло во время быстрой езды. Экипаж скакал по камням и рытвинам то поднимаясь на гору, то спускаясь вниз – дорогу никак нельзя было назвать спокойной, а в некоторых местах можно было просто сломать себе шею.

Впрочем, молодые люди мало внимания обращали на дорогу и ландшафт, потому что только эта встреча показала им, до какой степени они любили друг друга. Они ведь были неразлучны с детских лет, вместе шалили и учились, вместе провели годы подготовки к морской службе и, будучи произведены в офицеры, поступили на одно и то же судно; они разлучились только год назад, когда Бернгард вышел в отставку. Конечно, им было о чем поговорить, и Курт с обычной живостью рассказывал о себе и об Оттендорфе, где провел всего неделю.

– Папа был этим очень недоволен, – сказал он. – Он рассчитывал, что я проведу дома весь отпуск, как обычно, но ведь я обещал тебе приехать.

– И я не освободил бы тебя от данного слова, – заметил Бернгард. – В Оттендорфе все благополучно?

– Более чем благополучно, потому что сбежавшему сыну и наследнику есть замена. Полгода тому назад в наших краях появился любитель сельского хозяйства, красивый юноша из хорошей семьи, желающий поближе познакомиться с нашими условиями жизни, чтобы потом купить имение. Но, конечно, это намерение так и останется намерением, потому что он на всех парусах летит к моей сестре, и она, по-видимому, не питает к нему отвращения. Папа считает, что он прекрасно знает сельское хозяйство, и на все лады расхваливал мне его. Словом, дело на мази. Я думаю, что вскорости состоится обручение, и заранее шлю им свое торжественнейшее благословение.

– Еще бы, ведь это было бы самым лучшим исходом, – заметил Бернгард. – Будем надеяться, что Кети сделает тебе удовольствие и даст свое согласие, и тогда давнишней размолвке между тобой и отцом придет конец. Он душой и телом привязан к своему Оттендорфу, а значит, имение останется за нами.

– Ты тоже жених. Я уже поздравлял тебя в письме, а теперь могу повторить тебе свои пожелания лично.

– Благодарю, – спокойно ответил Бернгард. – Скоро ты увидишь Гильдур. Когда я уехал отсюда, она была еще ребенком, ей едва исполнилось четырнадцать лет, но мы виделись почти каждый день, потому что ее отец учил нас обоих. Тебя удивило это известие; я прочел это между строк твоего письма.

– Мы все были удивлены; никто не думал, что ты так быстро свяжешь себя. Всего год тому назад ты оставил службу, потому что считал ее «иглом» и «цепями», ты хотел быть свободным, и вдруг решил на всю жизнь связать себя брачными узами.

На лбу Бернгарда появилась морщинка, но он ответил совершенно твердо:

– Ты не поймешь этого, Курт. Здесь, в нашей глуши, человеку нужны жена, семья. Летом еще ничего – у меня есть охота, мое море, но зимой день у нас длится всего часа два, нас просто заносит снегом, а северные ветры бушуют у наших берегов иной раз неделями, так что нечего и думать высунуть нос из фиорда. Эти бесконечные зимние вечера, когда сидишь один в пустом доме, совершенно один со своими мыслями...

Бернгард вдруг остановился, а потом быстро договорил:

– Я выдержал это один раз, но больше не смогу.

– Ах, вот в чем дело! Тебе нужна жена! – проговорил Курт, внимательно глядя на друга. – Я полагал, что тут замешана страсть, потому что эта женитьба будет стоить тебе майората; устав вашего рода требует в таких случаях отречения.

Морщинка на лбу Гоэнфельса стала глубже, и в его голосе послышалось некоторое раздражение.

– Мне не нужен майорат. К счастью, состояние моей матери делает меня независимым от него и от «главы рода». Разумеется, я люблю свою невесту, иначе мой выбор не остановился бы на ней, но я не способен сейчас же «воспылать», как другие.

– Меня ты не надуешь, – спокойно возразил моряк, – я тебя хорошо знаю. В отношениях к женщинам ты всегда был чем-то вроде ледяной сосульки, ты никогда не пылал, но во всех других отношениях ты прежний неукротимый «бесноватый», спокойный только внешне. Если ты когда-нибудь «воспылаешь», то у тебя это будет целым пожаром.

– Тем более мне нужна спокойная, рассудительная жена, которая не бледнела бы от страха каждый раз, когда прорвется «бесноватый». И Гильдур – именно такая жена. Кстати, у вас там, кажется, воображают, будто я веду здесь нечто вроде крестьянского образа жизни; можешь заверить своих, что мне живется не хуже, чем вашим помещикам; только у нас жизнь проще и ближе к природе. Мне приходится легче, чем моему отцу, привезшему с собой только то, что он тяжким трудом заработал в Америке, а это составляло весьма небольшую сумму. Тогда действительно наша жизнь не особенно отличалась от жизни рансдальских крестьян, у нас было только самое необходимое. Я же, благодаря материнскому наследству, имел возможность купить имение, которое почти такое же большое, как Гунтерсберг; ведь я подробно описывал тебе в письмах свой Эдсвикен.

– Да, и купил ты его невероятно дешево. Кажется, здесь совершенно еще не знают цены земле.

– Нет, ею почти не дорожат. В Эдсвикене я более неограниченный хозяин и повелитель, чем был бы когда-либо в Гунтерсберге. Вот ты увидишь охоту в наших горных лесах; это далеко не такое невинное занятие, как у вас, и здесь от охоты получаешь полное удовольствие. А когда опять подымится ветер, мы поплывем на моей «Фрее» на север. Во время своих плаваний ты видел только юг, на севере же ты познакомишься с совершенно новым миром. Да, в такой свободной жизни много хорошего!

Глаза Бернгарда заблестели, и он выше поднял голову, но эту восторженную речь Курт выслушал довольно холодно.

– А потом настанет зима, – закончил он, – долгая, бесконечная зима, которую ты только что описывал. Это, должно быть, страшно тоскливо.

– К тому времени у меня будет жена, – коротко возразил Бернгард. – На этот раз я легче перенесу зиму. Наша свадьба назначена на осень.

Они въехали в горы. Дорога шла то через густые сосновые леса, то по пустынным каменным осыпям, то по уединенным ущельям, со склонов которых струились пенистые водопады. Иногда вдали блестело зеркало фиорда, но тотчас исчезало, скрываясь за лесами и скалами, и все ближе, все темнее вздымались перед ними вершины. Бернгард уверенно управлял экипажем, что требовало большой силы и опытности при плохой дороге с внезапными поворотами и крутыми спусками; видно было, что здесь, в горах, он чувствовал себя свободно, так же, как и в море. На нем был матросский костюм, который он носил на своем судне, и эта легкая, удобная одежда ему очень шла.

Гоэнфельс и теперь представлял полную противоположность стройному, красивому Курту, которого он значительно превосходил ростом, но это был уже не одичалый, своенравный мальчик, злобно восстававший против новой обстановки и условий, в которых его хотели заставить жить. Девять лет, проведенных им в своем отечестве, а потом на морской службе, все-таки изменили его, хотя не уничтожили врожденные черты его натуры, а только смягчили

их. Он по-прежнему казался упрямым, но все грубое, мужицкое, что было в нем когда-то, исчезло. В его строгой выправке, во всей его внешности сказывался бывший флотский офицер, который в течение нескольких лет должен был считаться со своим служебным положением. Правда, густые белокурые волосы опять отросли, лежали беспорядочными прядями и оставляли незакрытыми только лоб и виски. Черты лица не стали ни правильнее, ни красивее, но приобрели твердость и выразительность, сохраняя прежнее характерное выражение; упрямое «я хочу!» и сильная воля, которую не могли сломить ни время, ни воспитание, и теперь были написаны на его лице. Суровая, своеобразная внешность молодого Гоэнфельса скорее отталкивала, чем притягивала, и, несмотря на это, все-таки привлекала к себе внимание, потому что в нем чувствовалась глубокая натура.

– Что подельывают на «Винете»? – спросил он как бы вскользь. – Кажется, всего три недели, как она вернулась в Киль? Как прошло последнее плавание?

– На борту все благополучно, – ответил Курт.

– А... капитан Вердек?

– Что ж, он все тот же служака и старый грубый медведь. Муштровал нас, как всегда.

– Он знал, что ты едешь ко мне?

– Разумеется. Все знали. Прощаясь с ним, я нарочно упомянул, что товарищи просили меня передать тебе поклон: я думал, что он тоже велит кланяться, потому что ты ведь был его любимцем, но очень ошибся. Капитан скроил самую сердитую физиономию и пробурчал: «Что вам, собственно, там делать, лейтенант Фернштейн? Помогать закадычному приятелю стрелять белых медведей да ловить тюленей? Или, может быть, вы хотите, чтобы он и вас соблазнил покинуть знамя? Смотрите!» – и он сердито повернулся ко мне спиной.

Бернгард громко расхохотался, но смех был горький.

– Покинуть знамя! Разумеется! Он обошелся со мной как с дезертиром, когда я пришел проститься с ним. Как будто я не выполнял свой долг в течение всех этих лет, с момента поступления на службу кадетом или не имел права выбора оставаться на флоте или выйти в отставку! Тогда, в Вест-Индии, когда я выдержал свое первое испытание, капитан перед всеми товарищами и командой протянул мне руку и похвалил меня так, что мое сердце переполнилось гордостью. И после этого так расстаться! Если бы не моя многолетняя привычка к дисциплине, я вспылал бы в ту минуту. Собственно говоря, ведь я больше не состоял на службе, и он уже не был моим начальником; но я прошел там, у вас, суровую школу и хорошо усвоил правила; он был раньше моим капитаном, и поэтому я стиснул зубы и промолчал, но я и сейчас еще не простил ему.

– И он тебе тоже, – заметил Курт, – так же, как дядя Гоэнфельс.

Глаза Бернгарда сверкнули; они вспыхнули ненавистью, как тогда, когда мальчик впервые почувствовал железную руку, налагавшую на него узду.

– Мой дядя! – повторил он. – Да, в его представлении это был уже совсем смертный грех. Я ведь сказал ему, что рвусь на свободу, во что бы то ни стало, как только его власти надо мной придет конец; но он воображал, что обуздал меня при помощи своего воспитания, потому что я научился молчать и ждать. Он думал, что я забуду нашу многолетнюю борьбу, в которой он всегда одерживал надо мной верх, но он плохо знал меня! Такое запоминается на всю жизнь. Он и Вердек! Это истые представители хваленной системы, принятой в вашей Германии! Повиноваться и вечно только повиноваться, быть рабом какого-то долга! Ни тот ни другой и понятия не имеют о том, что значит быть свободным, быть господином самому себе. Что знают они вообще о свободе?

Это был взрыв неудержимой, страстной горечи, а между тем ведь «цепи» были уже разорваны, и неограниченная свобода достигнута. Очевидно, Курт думал по-другому, и он сухо возразил:

– Ну, что касается дяди Гоэнфельса и Вердека, то, по крайней мере, в своем деле они господа. Когда мы выходим в море, наша «Винета» со всем, что на ней есть, повинуетея воле одного человека – капитана, а дядя тоже стоит теперь у кормила государства и управляет всем кораблем. Полагаю, что стоит подчиниться некоторое время, если благодаря этому можно пойти так далеко. Тебе это могло удаться – по крайней мере, Вердек ожидал от тебя многого; потому-то он и разозлился так, когда ты столь внезапно и круто положил конец своей карьере.

– Очень она мне нужна! – раздраженно крикнул Бернгард. – Но и ты, Курт, тоже доставил мне тогда немало тяжелых минут; ты из-за этого был готов отказать мне в своей дружбе и до сих пор не простил мне.

– Нет, не простил! – холодно и серьезно сказал моряк и хлестнул лошадь.

Маленькая лошадка взвилась на дыбы; она не привыкла, чтобы ее хозяин обращался с ней так грубо, и немилосердный удар, со свистом резнувший ее спину, взбесил ее. Она прыгнула в сторону и бешено понеслась вниз с крутой горы, как слепая. Если бы Бернгард не натянул вожжи и не сдержал ее с нечеловеческой силой, то неизвестно чем бы это кончилось. Лишь мало-помалу испуганная лошадь успокоилась, но все еще гневно и нетерпеливо фыркала, как бы протестуя против незаслуженного обращения.

Этот инцидент заставил прекратить разговор. Только когда лошадь пошла тише, Курт снова заговорил:

– Полагаю, нам лучше будет не касаться больше этой темы. Это было первое серьезное столкновение между нами, и мы действительно были близки к разрыву; не будем напрашиваться на скандал. Только вот еще что, Бернгард: не коли меня постоянно своими «там у вас» да «в вашей хваленной Германии». Если ты отрекся от нас, то это твое дело; в сущности, ты никогда и не желал быть нашим; но я офицер германского флота и не выношу такой тон. Если ты не оставишь его, я сейчас же уеду.

Бернгард вздрогнул; одну минуту казалось, что он вспыхнет гневом, но до этого не дошло. Он сдержался и не ответил ни слова, но его лицо напоминало грозовую тучу.

Среди ясного, радостного настроения встречи прозвучал резкий диссонанс, и дело чуть не дошло до разрыва.

Дорога привела к самой вершине горы, откуда открывался вид на фиорд. Глубоко внизу лежало сверкающее на солнце неподвижное зеркало воды; во все стороны от него разбегались глубокие бухты, разветвлялись узкие долины, почти заполненные водой; на узких прибрежных полосах были рассеяны отдельные усадьбы и домики, уединенные жилища, зимой совершенно отрезанные от жизни; только на севере, в конце фиорда, на более широкой площади берега, виднелось довольно крупное поселение; можно было различить церковь, дома вокруг и стоящие поодаль усадьбы, расположенные за чертой городка. Непосредственно за зелеными лугами горы поднимались опять, а высоко наверху сверкали ледники главной вершины, замыкавшей своей мощной громадой задний план.

Бернгард остановил лошадь, чтобы дать спутнику возможность полюбоваться видом, и указал в ту сторону.

– Это Рансдаль, а там, направо, на мысе – мой Эдсвикен. Его можно рассмотреть невооруженным глазом.

– Великолепный вид! – Курт не отрывал восхищенного взгляда от ландшафта. – Немного мрачная, но мощная и величественная картина.

– Не правда ли, наша Норвегия прекрасна? – продолжал Бернгард. – Теперь ты понимаешь мою тоску по родине, по этим скалам, лесам и водопадам?

Он вдруг замолчал, а потом тихо прибавил: – Курт, ты грозил серьезно? Ты, в самом деле хочешь уехать?

– Ты же сам гонишь меня! – последовал полный упрека ответ. – Ты делаешь это нарочно, а я так мечтал об этой поездке и об этой встрече!

– Но не так, как я! – горячо перебил Бернгард. – Я ведь считал дни и часы до твоего приезда. Останься, Курт, подари мне эти несколько недель! Ты и не подозреваешь, как ты мне нужен.

В этих словах прозвучала такая страстная мольба, что Курт изумленно взглянул на друга. На него смотрели прежние голубые глаза мальчика, которые могли сверкать крайне враждебно, когда он сердился; но теперь в их глубине таилось что-то другое, какая-то тяжелая, мрачная тень. Молодой моряк впервые заметил это и вдруг протянул другу руку.

– Я останусь! – сказал он с прежней сердечностью. – Если я нужен тебе, то всегда к твоим услугам, несмотря ни на что.

Бернгард перевел дух, как будто гора свалилась с его плеч. Он ответил только пожатием руки, но в этом пожатии выражалась безмолвная благодарность и просьба о прощении. Потом он тронул лошадь, и экипаж быстро покатиł вниз.

6

Рансдаль в самом деле лежал вдали от мира, в стороне от более или менее известных путей сообщения, от всех главных пунктов, к которым летом обычно устремляется поток туристов. Это было единственное довольно крупное поселение на фиорде, по берегам которого в других местах были разбросаны только отдельные усадьбы и домики; большого значения оно не имело. Сообщение с другими точками берега было очень редким, а дороги через горы не допускали регулярного движения. Правда, красотой и величием своих окрестностей это место могло поспорить со всяким другим, но путеводители упоминали о Рансдале лишь в нескольких словах, и хотя и признавали его пейзаж достойным внимания, но особенно подчеркивали трудность сообщения и неудобства здешней жизни. Вследствие этого Рансдаль не пользовался известностью, и лишь изредка из-за гор сюда проникал какой-нибудь турист. Рансдальцы не искали и не желали сношений с внешним миром; они ревниво оберегали свою обособленность, относились с недоверием ко всякому пришельцу и вели точно такой же образ жизни, как в старые времена. Какое дело было им до того, что делалось на свете? Когда сюда забрел чужеземец-немец, все здесь было, как и двадцать лет тому назад. Порвав с родными, Иоахим Гоэнфельс вел сначала несколько лет бродячую жизнь искателя приключений в Америке, куда направился прежде всего. Он искал в своей стране свободу, того, что было, по его понятиям, свободой, но не нашел ничего подобного и, разочаровавшись, получив отвращение к всеобщей погоне за деньгами и властью, вернулся в Европу; случай забросил его на норвежские берега, в Рансдаль, и он здесь остался. В это время ему было немногим больше тридцати, но этот беспокойный человек уже исчерпал запас энергии и из прежнего бунтаря, мечтавшего об идеальном человечестве, превратился в озлобленного чудака, которого не покидало чувство ненависти к своей родине и прошлому.

Из Америки он вернулся не без средств. Конечно, для прежнего барона Гоэнфельса эта сумма была нищенскими грошами, но для жизни в Рансдале ее было достаточно; здесь даже зажиточные люди вели почти крестьянский образ жизни. Иоахим жил в такой же суровой обстановке, как другие, но они все-таки не считали его своим; они не понимали ни его, ни его природы, для них он оставался чужим до самой смерти.

Впрочем, с его сыном Бернгардом, которого он вызвал сюда из Германии, дело обстояло иначе. Тот вырос в Рансдале, сжился с местной обстановкой, душой и телом сроднился с новым отечеством. Правда, по смерти отца родня вытребовала его назад, но он обещал вернуться, подтвердив это обещание клятвой Гаральду Торвику, и действительно сдержал слово, как только стал сам собой распоряжаться.

Права Бернгарда Гоэнфельса на родовое поместье Гунтерсберг вступали в силу только после смерти его дяди, но когда он достиг совершеннолетия, в его распоряжение поступило имущество его матери; оно было не особенно велико, однако гарантировало ему полную независимость и свободу жить, как ему будет угодно. Здесь, в Рансдале, оно представляло целое богатство, и приобретенное им на эти деньги имение давало ему право быть в городке одним из самых богатых. Это первенство, несмотря на его молодость, было единодушно признано за Бернгардом, причем рансдальцы смотрели на него, как на равного себе по происхождению, они имели весьма смутное понятие о том, что значит быть немецким бароном и владельцем майората, и ценили разве только звание флотского офицера, но зато ставили ему в большую заслугу отказ от наследства. Этим Бернгард доказал, что он для них свой, а не принадлежит к тем, «чужим», которые пытались завладеть им, как своей собственностью; он добровольно выбрал свою судьбу и выбрал правильно!

У самой церкви стоял дом пастора Эриксона, деревянный, как и все постройки в селении, с низенькими, но широкими окнами, занимавшими чуть ли не весь передний фасад. Внутри

дом был убран просто, но уютно. Гостиная, довольно большая комната с белыми занавесками на окнах, картинами на бревенчатых стенах и мягкой мебелью, обитой пестрой материей, производила приятное впечатление. Две молодые девушки, сидевшие у окна, оживленно разговаривали, то есть говорила, собственно, одна Инга Лундгрэн, другая же, дочь хозяина дома, больше слушала. Возле нее стояла корзина с бельем, починкой которого она занималась, не прерывая работы, даже когда говорила.

Гильдур Эриксен казалась старше своей двоюродной сестры года на два, на три. Это была, бесспорно, красивая девушка, но красивая той простой, строгой красотой, которая привлекает человека, не внушая ему безумной страсти. Для женщины она казалась слишком рослой и сильной; взглянув на нее, легко было догадаться, что она одинаково ловко справляется и дома с иголкой, и с веслом на воде. Белокурые волосы обвивали ее голову двумя толстыми косами, обрамляя цветущее лицо с крупными, правильными чертами и светлыми глазами. Ей недоставало одного: нежной прелести юности. От всей внешности девушки веяло серьезным спокойствием, какой-то строгостью, которая не производила обворожительного впечатления. Гильдур представляла полную противоположность маленькой, хорошенькой Инге.

Последняя рассказывала о встрече приятелей на пристани, с негодованием подчеркивая, что ее бросили одну, не помогли перейти на пароход.

– Но ведь Бернгард не знаком с тобой, – заметила Гильдур. – Он даже не знал, что ты едешь в Рансдаль. Однако скажи же мне, наконец, чему мы обязаны твоим приездом. Ты вовсе не собиралась заглядывать к нам этим летом и вдруг – приятный сюрприз из Бергена, что ты приедешь с первым пароходом и прогостишь несколько недель. Ведь то, что ты рассказала вчера отцу, не больше как выдумка.

– Конечно, я боюсь сказать дяде правду, он при первой же возможности прогонит меня домой. Я ведь сбежала! Мне ничего больше не оставалось. Подумай сама, без моего согласия меня затеяли выдать замуж! Это был тайный сговор, торговая сделка между фирмами Лундгрэн и Ганзен; но я разрушила все их планы!

– Почему же ты не сказала просто «нет»?

– Я сначала так и сделала, но не подозревала, что тут целый заговор, настоящий заговор! Ганзен – давнишний компаньон моего отца; он часто приезжает в Дронтгейм, и я приглянулась ему; он нашел меня подходящей для роли его невестки и жены его сына и наследника, этого дурака Акселя. Мои родители с этим согласились, ведь Ганзены – очень богатая, старинная и уважаемая фирма в Бергене. Одним словом, дело было слажено без моего ведома, а потом меня пригласили погостить. Госпожа Ганзен приняла меня в высшей степени любезно, относилась ко мне с величайшей нежностью, и в продолжение первых недель я веселилась до упаду. Правда, я сразу заметила, что Аксель все вертится около меня и делает влюбленные глаза. Надо тебе сказать, что глаза у него водянисто-голубые, а волосы желтые, как солома, и при этом он беспредельно глуп. Эта история забавляла меня, пока я вдруг не сделала открытие, что она становится серьезной и что в это замешаны мои родители. Я представляла собой бессрочный вексель, выданный на имя фирмы «Ганзен и компания».

Я сейчас же написала домой, и что же получила в ответ от мамы? Она и папа держали свой план в секрете, чтобы не лишиться меня «непринужденности»! Добрый, славный Аксель сильно любит меня, и я люблю его со временем, когда узнаю ближе; мы составим счастливую парочку и так далее. Но у меня не было ни малейшего желания изображать собой половину этой счастливой парочки, и я настояла на немедленном отъезде. Однако Аксель со своей сильной любовью поехал вместе со мной, то есть ему самому это и в голову не пришло бы – ему вообще никогда ничего не приходит в голову, а ехать ему приказала его мамаша. Тут у меня лопнуло терпение, и я сбежала.

– Неужели нельзя было уладить дело как-нибудь иначе? – спросила Гильдур, видимо, не одобрявшая этой выходки.

– Нельзя, потому что госпожа Ганзен утверждала, что я не могу ехать одна. Ну, и, разумеется, Аксель должен был оставаться все время в Дронтгейме и выказывать свои многочисленные прекрасные качества, пока я не соглашусь стать его женой. Меня торжественно поручили его заботам, и он, добросовестно исполняя роль часового, не подпускал ко мне ни одной живой души. Только у меня уже все было заранее спланировано. Если бы ты видела его физиономию, когда я неожиданно объявила, что еду в Рансдаль! Он буквально присел и сообразил, в чем дело, только тогда, когда я уже была в лодке. И вот я здесь, и вы отделаетесь от меня не раньше, чем в Дронтгейме очистится воздух.

Девушка с торжествующим видом посмотрела на Гильдур, как бы ожидая ее одобрения. Но та только покачала головой и сказала:

– Твои родители вытребуют тебя обратно.

– Им придется отказаться от такого намерения. Если я не хочу чего-нибудь, то, значит, не хочу, пусть хоть весь Дронтгейм перевернется вверх ногами. Папа это знает; поэтому он, не поднимая шума, сплавит славного Акселя восвояси и будет очень рад, когда я вернусь домой. Однако довольно нам толковать об этом неудачном сватовстве; мне хочется поглядеть на настоящих жениха и невесту. Дай-ка мне хорошенько рассмотреть тебя, Гильдур! Какова-то ты невеста!

По серьезному лицу Гильдур пробежала улыбка.

– Какой же мне следует быть, по-твоему?

– Я полагаю, немножко веселее, а ты серьезна и спокойна как всегда. Между тем ведь ты выходишь замуж по любви.

– Конечно, но мы оба смотрим на любовь и на брак серьезнее, чем кажется, смотришь ты. Инга не обратила внимания на легкую укоризну, звучавшую в этих словах.

– Это будет идеальный брак, – заметила она. – Но, выходя замуж, необходимо чувствовать хоть маленькое удовольствие, иначе – благодарю покорно. Знаешь, известие о твоей помолвке произвело в Дронтгейме фурор. Наши знакомые помнят тебя со времени твоего визита к нам, но мы все думали, что из тебя выйдет почтенная супруга пастора, вроде твоей покойной матери, и вдруг оказывается, что твой жених – немецкий барон, владелец майората и Бог весть еще что! Скажи, каков он собой? Я видела его только издали.

– Чего ты только не знаешь! – сказала Гильдур. – Ни о чем подобном я тебе не писала.

– Еще бы! Боже сохрани! Из Рансдаля мы, разумеется, ничего не узнали. Дядя известил нас лишь о твоём обручении с Бернгардом Гоэнфельсом, а ты лаконично пояснила: «друг юности, немец, который вырос здесь и после долгого отсутствия вернулся обратно» – и только! Это было все; о том, что вышеупомянутый Бернгард – родной племянник и ближайший наследник министра Гоэнфельса, о котором теперь говорят все газеты, – ни слова. Но мы все-таки узнали, ведь это имя так часто приходится слышать. Только как может твой жених хоронить себя здесь, в Рансдале, когда на родине его ждут блеск и слава? Правда, говорят, будто он не в ладах с дядей, но если человек занимает такое положение...

– То, по-твоему, перед ним надо ходить на задних лапках, – сухо перебила ее Гильдур. – К счастью, Бернгард смотрит на это иначе. Он обеспечил себе полную независимость, а наследственные права на фамильное поместье он, само собой разумеется, теряет с женьбой: владелец гунтерсбергского майората должен жениться на девушке, равной ему по происхождению, а я дочь простого пастора. Этого министр не простит ему.

Инга при этом открытии широко раскрыла глаза. Как же сильно должен был любить свою невесту этот Бернгард Гоэнфельс, если жертвовал для нее майоратом! Молодая девушка нашла это в высшей степени романтичным.

– Так вот почему он разошелся с дядей? – проговорила она. – Неужели они такие враги?

– Этого я не знаю, – последовал холодный ответ. – Бернгард очень редко и очень неохотно говорит о своих отношениях с родными, а я не навязываюсь с вопросами. О том, что он теряет

Гунтерсберг, он сообщил мне и отцу потому, что это касается нашего брака; об остальном же я знаю не больше чем всякий другой.

Этого Инга не могла понять. Она всегда думала, что, когда двое людей любят друг друга и вступают в брак, то один должен совершенно точно знать все, что касается другого; здесь же жених молчал, а невеста «не навязывалась» с вопросами. Разве это согласовывалось с великой любовью, заставляющей человека не останавливаться ни перед какой жертвой ради обладания возлюбленной?

На улице послышались шаги. Бернгард Гоэнфельс и Курт Фернштейн кланяясь, прошли мимо окна и в следующую минуту вошли в комнату. Их прихода сегодня ожидали: в пасторате было известно, что Бернгард, возвращаясь из плавания на своей яхте, встретит друга и вместе с ним приедет в Рансдаль. Жених и невеста не виделись уже пять дней, но поздоровались так, как будто расставались всего на несколько часов. Гильдур встала и пошла навстречу жениху, а он поцеловал ее в лоб и представил ей Курта; она спокойно и ласково подала последнему руку, но почти с недовольством отдернула ее, когда он хотел поднести ее к губам. Бернгард, заметив это, сказал с улыбкой:

– У нас в Рансдале не знают салонных обычаев. Ты должен довольствоваться здесь рукопожатием. Однако я должен представиться. Фрейлейн Лундгрэн, не правда ли? – обратился он к Инге. – Вы позволите приветствовать вас в качестве будущего родственника?

Инга с любопытством смотрела на человека, который, после всего услышанного о нем, казался ей героем романа. Увы! Он не выглядел героем и даже не особенно понравился ей; суровость и сильная воля, чувствовавшиеся в нем, внушали ей робость. Молодой моряк-лейтенант был гораздо красивее, и манеры его намного любезнее. Тем не менее, Инга обошлась с ним не очень-то милостиво, и только после долгих извинений с его стороны и уверений, что он был поражен, когда, вернувшись к лодке, уже не нашел своей спутницы, она сменила гнев на милость, что не помешало ей через пять минут уже опять затеять с ним спор. Речь шла о том, какая дорога в Рансдаль красивее: по суше или морем; этот вопрос решил Бернгард.

– Дорога через фиорд красивее, но необходимо, чтобы дул попутный ветер. Пароход исключительно местный вид транспорта и заходит в каждую бухту, всюду останавливается; вы прибыли сюда, вероятно, только поздно вечером, тогда как мы на лошадях приехали в Рансдаль уже в четыре часа.

Курт бросил быстрый взгляд на Гильдур, которой таким образом стало известно, что ее жених был дома вчера еще в четыре часа, а пришел к ней только сейчас. Однако она как будто нисколько не была обижена этим. Она опять принялась за штопку платка и спокойно проговорила:

– Да, пароход пришел вчера позже, чем обычно.

Моряк невольно сравнивал двух девушек. Гильдур была, несомненно, красивее, но Инга, благодаря своей живой натуре, была душой компании. В ней сразу чувствовалась горожанка. Светлое, со вкусом сшитое платье чрезвычайно шло ей, а с мужчинами она обращалась уверенно и непринужденно, что доказывало ее привычку бывать в обществе. Гильдур была молчалива и сдержанна, так как ей недоставало умения вести легкий светский разговор. Суровая простота костюма свидетельствовала о том, что она лично ведет все хозяйство; ее платье было весьма практичным и далеко не изящным. Она знала, что ее жених придет сегодня и приведет с собой товарища, но, тем не менее, осталась в своем повседневном домашнем костюме и, не взирая на присутствие гостя, не считала нужным оставить работу, хотя Бернгард не раз поглядывал на нее с плохо скрытым недовольством.

Инга рассказывала о Христиании, где провела несколько лет, воспитываясь там в пансионе, когда вошел пастор Эриксен. Это был уже пожилой человек, простой и скромной внешности. Он поздоровался со своим будущим зятем, ласково приветствовал его гостя и принял участие в разговоре, расспрашивая молодого моряка о плаваниях, в которых тот участвовал,

и особенно о состоянии германского флота. Курт охотно рассказывал и отвечал, но при этом с удивлением сделал открытие, что ни пастор, ни его дочь не имеют об этом ни малейшего понятия. А между тем ведь Гоэнфельс прослужил во флоте несколько лет! Бернгард и теперь не принимал участия в разговоре. Он отошел к невесте и, как будто для того, чтобы очистить себе место, оттолкнул корзину с бельем, которое чинила его невеста, так что Гильдур не могла больше дотянуться до нее.

– Неужели от Гаральда Торвика до сих пор нет вестей? – вдруг спросил он среди разговора. – Я еще три месяца тому назад написал ему о нашем обручении, но не получил ответа, и даже не знаю, где он в настоящее время.

– Мать получила от него письмо третьего дня, – сказал пастор. – Он еще в Гамбурге, но, по всей вероятности, скоро приедет в Рансдаль на яхте немецкого принца, на которой он служит штурманом.

– Удивляюсь, как это он решился служить на немецком судне! Он кое-как говорит по-немецки, так что может объясняться – он выучился этому языку когда-то у меня, но едва ли упрямец Гаральд, который только и признает, что свой север и презирает все иностранное, поладит с капитаном и экипажем. Он всегда плавал только на здешних судах.

– Должно быть, условия прекрасные, – сказал пастор. – Впрочем, он заключил контракт только до осени. Принцу нужен был для экспедиции этого года штурман-норвежец, хорошо знакомый с нашими водами, и ему рекомендовали Торвика. Во всяком случае, он скоро приедет сюда на «Орле».

– На «Орле»? – переспросил Курт. – Может быть, вы говорите о принце Альфреде Зассенбурге? Его яхта пришла в Гамбург как раз, когда я ехал сюда. Великолепное судно!

– Да. Оно было здесь в прошлом году, – сказал Бернгард. – Ты знаком с принцем?

– Нет, но много слышал о нем дома, потому что он недавно гостил в Гунтерсберге, и мой отец познакомился с ним там.

– У принца Зассенбурга в рансдальских горах большие владения, в которых он охотится, – пояснил пастор. – Он каждый год проводит в них несколько недель и тогда курсирует в наших водах на своем «Орле». Этого гостя у нас хорошо знают.

У Курта вертелось на языке какое-то замечание, но он промолчал и не поддержал разговора. Он обратился к Инге с вопросом, знает ли она Эдсвикен, имение его товарища; она ответила отрицательно.

– Я видела его только снаружи, потому что два года тому назад, когда я была здесь, там жил еще прежний владелец, но дядя говорит, что это старинное норвежское поместье с историческим прошлым.

– Это правда, – подтвердил пастор. – По обязанностям своей должности я в течение многих лет собирал всякие сведения и заметки о Рансдале. Некоторые из них относились к очень древнему времени, и в них Эдсвикен упоминался уже как старая помещичья усадьба. Позднее он перешел в руки крестьянской семьи, которая и владела им до недавнего времени. Последний владелец умер бездетным, и его имение было назначено в продажу как раз в то время, когда сюда вернулся Бернгард. В моей комнате висит старинный вид нашего местечка, случайно найденный мной; я могу его показать.

Курт попросил показать. К ним присоединилась Инга, тоже еще не видевшая этой картины. Но в дверях она обернулась и бросила назад шаловливый вопросительный взгляд: очевидно, она воображала, что жених и невеста воспользуются тем, что остались наедине для обмена обычными выражениями нежности, от которого их вынудило отказаться присутствие посторонних. Ничего подобного не случилось. Гильдур только встала, чтобы взять из корзины новую штуку белья, но Бернгард помешал ей.

– Оставь, пожалуйста! – нетерпеливо сказал он. – Ты могла бы не заниматься такой работой при Курте.

– Почему же? Я ведь всегда занималась ею при тебе.

– Мы были одни, а при гостях – другое дело. Ты думаешь, твоя кузина Инга делает что-нибудь подобное, когда у ее родителей бывают гости?

– Инга – дочь богатых родителей и очень избалована; она вообще не занимается подобными вещами. На мне же всегда лежало все шитье в доме, и у нас это даже необходимо.

– В моем доме ты не будешь иметь в этом надобности, – заявил Бернгард. – Во всяком случае, я желал бы, чтобы этого не было, пока здесь Курт. И еще одно: почему ты не дала ему поцеловать руку? Это простая форма вежливости, общепринятый обычай в кругу, в котором он возвращается.

– Но у нас это не принято; ты сам это сказал.

– Чтобы извинить твое поведение, которое было почти оскорбительно. Курт не знал, что ему думать. Неужели он должен был решить, что ты не знаешь светских приличий?

– Я действительно не знаю их, – спокойно проговорила Гильдур. – Разве ты так дорожишь его мнением?

Бернгард принял эти слова за упрек и возразил со сдержанным раздражением:

– Полагаю, я достаточно доказал тебе и всем вам, что умею думать и поступать самостоятельно, но к мнению Курта я действительно не равнодушен. Что же, если у нас придают значение таким вещам! В Гунтерсберге не должны знать, что моя невеста штопает в доме отца дырявое белье.

Гильдур была удивлена этим выговором, первым в таком роде, причем она даже не знала, чем объяснить его. Бернгард уже больше года заставлял ее за подобными работами, никогда не обращал на это внимания и вдруг теперь увидел в этом что-то унижительное и впервые употребил выражение «у нас»; прежде он подразумевал под этим – в Рансдале, сегодня же это значило – в Гунтерсберге. В душе невесты шевельнулось неясное, но мучительное чувство. Впрочем, у нее не было времени раздумывать над этим: отец уже вернулся с гостями, а те позаботились о том, чтобы разговор не прерывался.

На этот раз в нем принял живое участие и Бернгард; Гильдур старалась участвовать, но ей это плохо удавалось: все, что она говорила, выходило тяжеловесно и серьезно, а смутное чувство в ее душе становилось все сильнее по мере того, как она замечала, насколько изменился ее жених в присутствии своего друга. Она знала только хмурого, замкнутого Бернгарда Гоэнфельса, который был таким всегда даже с ней, и объясняла его сдержанность особенностью его характера, с которой нужно считаться. Теперь же он буквально разгорячился, а когда Курт затронул кое-какие общие воспоминания из прошлого, то казалось, что и он тоже умеет рассказывать, точно вдруг освободился от давившего его гнета. Никогда еще в тихих комнатах пастората не бывало такого оживления, как сегодня, и среди разговора то и дело раздавался звонкий смех Инги. Но это не возбуждало недовольства пастора; казалось, ему была даже приятна веселость его молодых гостей, и он только время от времени, шутя, грозил пальцем своей шалунье-племяннице. Все чувствовали себя весело и непринужденно, и Бернгард имел полное основание быть довольным тем, как прошел в пасторате этот первый визит друга.

7

Молодые люди остались обедать, и ушли домой только к вечеру. До Эдсвикена было полчаса ходьбы, и с дороги открывался прекрасный вид на фиорд. Курт с интересом рассматривал каждую вершину, каждую бухту; но когда они вошли в небольшой лесок и вид на несколько минут скрылся, он вдруг спросил:

– Зачем ты выдал своей невесте, что мы так рано приехали вчера в Рансдаль? Теперь она, разумеется, обвинит меня в том, что ты явился к ней так поздно, а между тем ведь я вчера уговаривал тебя идти в пасторат; ты сам непременно хотел сначала показать мне свой Эдсвикен.

– Ах, ты вот о чем! Ты думаешь, что Гильдур в претензии? Нет, мы в Рансдале не так сентиментальны. Здесь женщины привыкли к тому, что их мужья целыми днями пропадают в море и по возвращении не соблюдают особых церемоний. Вернулись, поздоровались, и кончено.

– Ну, да, у матросов и рыбаков – конечно! Но ведь ты ездил для своего удовольствия и к тому же ты пока еще только жених.

– Я никогда не был расположен к роли влюбленного. К счастью, Гильдур и не ждет ничего подобного; ей показалось бы даже весьма комичным, если бы я после двух-трех дней разлуки стал рассказывать ей, как тосковал по ней в море. Здесь девушки воспитываются совсем иначе, здесь рано знакомятся с суровой действительностью и считаются с ней.

– Это справедливо, вероятно, только для Рансдаля, – заметил Курт. – Здесь действительно, кажется, не очень-то думают о правилах, но фрейлейн Лундгрэн своему жениху не простила бы такого отношения. Я ей чужой и то должен был поплатиться за то, что не рыцарски бросил ее в лодке.

– Она выросла в городе и воспитывалась в Христиании; сверх того, она дочь богатого купца и судовладельца, завидная партия; все это, разумеется, сделало ее капризной. Мне такая хрупкая, избалованная куколка не нужна, я выбрал себе невесту понадежнее. Гильдур пришлось после смерти матери с самых ранних лет взять на себя трудные обязанности. Она видит любовь и брак в их настоящем свете. Из таких, как она выходят сильные, деятельные женщины. Это залог счастливого брака.

– Но весьма прозаичного, – закончил моряк. – У вас, в Эдсвикене, будет скучновато. Мне, по крайней мере, был бы не по вкусу брак, в котором все основано только на рассудке, а всякая поэзия и романтика прячутся подальше в угол, чтобы они как-нибудь оттуда не выскочили. Я предпочитаю ссориться с женой.

– Очень приятная перспектива для твоего будущего брака! Я предпочитаю домашний мир.

– Вероятно, оттого, что ты сам такая спокойная натура? Во всех остальных отношениях ты словно море в бурную погоду, ревешь и брызжешь пеной, не зная удержу, но в этом вопросе ты взял направление на рассудок и мудрость. Поздравляю!

– Весьма благодарен, – последовал ироничный ответ. – На этот раз уж ты бери Эдсвикен без хозяйки; надеюсь, позднее ты сам убедишься, что мы превосходно обходимся без романтики. А вот, наконец, и моя «Фрея»! Я ждал ее еще сегодня утром, но должно быть, нельзя было быстро плыть при таком штиле.

Они вышли из леска. Перед ними был Эдсвикен, а в маленькой бухте против усадьбы стояла на якоре парусная яхта. Двое матросов еще возились с якорным канатом, а третий, стоявший уже на берегу, замахал шапкой, приветствуя издали своего хозяина.

– Твоя «Фрея»? – воскликнул Курт оживляясь. – Пойдем! Хочу немедленно познакомиться с этой северной красавицей.

– Сейчас я представлю тебя ей. Это маленькое суденышко, всего три человека экипажа да я в звании капитана, но посмотрел бы ты на мою «Фрею» в открытом море! Она летит, как чайка, по волнам и повинуется малейшему повороту руля. Я не променял бы ее на прославленного «Орла»! Тот тащит на себе всякую роскошь, без которой принц Зассенбург не может обойтись даже во время своих поездок на север.

– Да, это маленький плавающий дворец, – согласился Курт. – Такое судно может позволить себе только принц. Ты знаком с ним лично?

– Немного. Прошлым летом он был у меня раз – этой чести я удостоился, как член рода Гоэнфельсов, и я, разумеется, нанес ответный визит, чтобы показать, что я не совсем еще забыл правила вежливости. Этим наши отношения ограничились. Впрочем, я и не собираюсь их поддерживать.

– Принц Альфред тебе не понравился? Он слывет умным человеком. Папа от него в восторге.

– Очень может быть, что он и умный человек. Мы говорили только об охоте и о его Альфгейме – замке, который он выстроил себе в горах. Правду сказать, я не чувствую симпатии к людям, которые все извели, во все потеряли веру и ищут только чем бы пощекотать притупившиеся нервы. И ко мне он явился только из любопытства: ему хотелось посмотреть, как мне живется здесь между крестьянами. Это было нечто новое, сенсационное. Но у меня нет ни малейшей охоты служить ему предметом развлечения, и на этот раз я намерен уклониться от всяких сношений с ним.

– Если только это окажется возможным.

– Почему же это может оказаться невозможным? Я не обязан любезничать с Зассенбургом.

В это время к ним подошел матрос, раньше махавший им шапкой. Очевидно, он уже знал, кто является гостем его хозяина и, став во фронт, взял под козырек.

– Вот тебе раз! Ты завел на своей «Фрее» такие порядки? – смеясь, спросил Курт. – Этот малый отдает честь по всем правилам воинского устава. Однако это не норвежец!

– Нет, он чистокровный голштинец, – ответил Бернгард. – Наконец-то вы явились, Христиан! Что так запоздали? Верно, тяжело было плыть?

Матрос был здоровенным парнем лет семнадцати-восемнадцати, со свежим, открытым лицом и ясными голубыми глазами, которые с каким-то обожанием устремились на незнакомого моряка-офицера.

– Очень тяжело, господин капитан! – ответил он на чистейшем голштинском наречии. – Всю дорогу ни малейшего ветерка; мы еле двигались.

– Я так и думал, – сказал Бернгард, кивая. – Ступай вперед, Христиан, господин лейтенант желает осмотреть «Фрею». Конечно, все в порядке?

– Так точно! – Христиан зашагал вперед. Курт одобрительно следил за ним глазами.

– Славный, красивый малый! Где ты его подцепил?

– В Киле, где мне пришлось провести несколько недель перед отъездом; надо было покончить с разными делами, между прочим, с покупкой и снаряжением моей «Фрей», которая должна была следовать за мной по возможности быстрее. Христиан Кунц каждый день возил меня в лодке, и мне понравился этот веселый, шустрый парень. Его старший брат служит матросом на флоте, и ему предстояло скоро стать корабельным юнгой. Он просто влюбился в меня и, когда пришлось расставаться, был до такой степени расстроен, что я предложил ему ехать со мной и поступить ко мне на службу. Он, конечно, с готовностью согласился, был принят сразу матросом и стал получать соответствующее жалованье. Родители с радостью отпустили его.

– И ему не скучно здесь, в Рансдале?

– Чего же скучать? Он в течение года достаточно хорошо выучил норвежский и может разговаривать с кем угодно. Когда «Фрея» стоит у берега, иной раз по целым неделям, я беру

Христиана для разных услуг по дому. Он проворный, ловкий малый, на все руки мастер, и я могу совершенно положиться на него.

Тем временем они ступили на палубу, где их уже ждал Христиан Кунц. «Фрея» действительно была маленьким суденышком, но с уютной и чрезвычайно комфортабельно обставленной каютой; вообще она была снабжена всем необходимым для продолжительного плавания. Глаза Бернгарда сияли чувством радостного удовлетворения, когда он показывал судно и рассказывал о своих странствованиях по северным морям, но, как понял Курт, за последний год его друг не знал отдыха; по-видимому, в плавании он был постоянно. Это должно было кончиться само собой, когда в дом вступит молодая хозяйка.

Два матроса-норвежца не обращали особенного внимания на гостя. Они поздоровались, со свойственной им серьезностью и несловоохотливостью ответили на несколько вопросов, заданных им Куртом, и вернулись к своей работе. Христиан не отходил от господ, убирал с их дороги канаты, открывал двери во внутренние помещения, и на его физиономии выражалось торжество каждый раз, когда молодой лейтенант хвалил судно, которое, очевидно, было ему так же дорого, как и его капитан. Он был очень недоволен, когда товарищи позвали его, чтобы в чем-то им помочь.

Друзья стояли, беседуя на палубе. Бернгард толковал о предполагавшейся совместной поездке на север, но Курт отвечал рассеянно и вдруг спросил:

– Как ты расстался с дядей, когда бросил службу? Ты ведь писал ему из Вест-Индии, но не захотел показать мне его ответ.

– Потому что не стоило показывать, – пожимая плечами, ответил Бернгард. – Я нарочно известил его письмом о том, что подал в отставку, потому что при устном объяснении у нас опять произошла бы стычка, а я хотел ее избежать. Я знаю, что это было для него полной неожиданностью. Мое письмо было холодно-вежливым, но от его ответа повеяло стужей. Он написал, что передает мне имущество моей матери и посылает мне счета и расписки. Письмо было чисто деловое; в нем ни словом не упоминалось о принятом мной решении, дядя просто игнорировал его. Уж такая у него манера, когда он хочет побольнее задеть человека. Впрочем, что мне за дело до этого? Все равно мы никогда в жизни больше не увидимся.

Раздраженный тон молодого человека, напротив, свидетельствовал, что он задет за живое. Очевидно, он предпочел бы самые горькие упреки этому презрительному молчанию, под которым крылось осуждение.

Курт несколько секунд колебался, потом проговорил серьезным голосом:

– Я только сейчас узнал в пасторате, что имение принца Зассенбурга находится в ваших горах и что сам он едет сюда. Ты должен быть готов к более или менее тягостной встрече, потому что на «Орле» едут гости: дядя Гоэнфельс и Сильвия.

Бернгард вздрогнул от неожиданности.

– Они приедут сюда, в Рансдаль?

– Вероятно, на следующей же неделе, потому что они должны были отплыть сразу вслед за мной.

– Откуда ты знаешь?

– От отца. Еще во время моего пребывания в Оттендорфе министр написал отцу, что принял приглашение Зассенбурга за себя и за дочь, и они скоро выезжают. Ты едва ли избежишь встречи, как-никак, а это твои ближайшие родственники.

Лицо Бернгарда омрачилось; видно было, как болезненно взволновало его это известие. Но вдруг он упрямо поднял голову и воскликнул:

– Что ж! Значит, придется встретиться. Приятнее всего было бы сейчас же уехать с тобой на «Фрее» на север, но это, несомненно, будет расценено как бегство; я не доставлю дядюшке удовольствия торжествовать, будто я не смею показаться ему на глаза. А он непременно подумает это! Не понимаю только, откуда у дяди Бернгарда время для подобных экскурсий. При

своем пристрастии к работе он никогда не позволял себе ничего подобного, за исключением разве кратковременных поездок в Гунтерсберг.

– Да и теперь он делает это не по доброй воле, – сказал Курт. – Кажется, его неистощимая работоспособность в последнее время иссякла; он просто устал. Этой весной у него появились какие-то нервные срывы, и несколько недель, проведенных в Гунтерсберге, не помогли, потому что, вернувшись, он сразу же опять с головой ушел в работу. Врачи объяснили ему, что он должен выбирать между грозящим ему серьезным нервным заболеванием и полным отдыхом в течение нескольких месяцев. Он покорился, правда, как пишет отцу, против воли.

– Я думаю! – насмешливо отозвался Бернгард. – Ему, наверное, стоило немалых сил заставить себя хоть на несколько недель выпустить из рук скипетр. Повелевать – его стихия! Так поэтому-то он и принял приглашение Зассенбурга?

– Конечно. И ничего лучшего он не мог придумать; здесь, на «Орле», он будет огражден от тысячи знакомых, которые непременно стали бы навязываться ему, и лишили бы его покоя, если бы он поехал на какой-нибудь курорт. На «Орел» имеют доступ только гости принца.

Наступило продолжительное молчание. Моряк чувствовал большое облегчение, окончив разговор на эту тему. Правду сказать, он боялся, что друг примет это известие с гораздо большим волнением.

Бернгард стоял, скрестив руки и нахмурившись; однако его голос звучал спокойно, когда он через некоторое время снова заговорил.

– И Сильвия едет с ним? Что нужно этому слабому, хилому созданию на нашем суровом севере?

– Девятнадцатилетняя Сильвия уже, конечно, не может быть названа «созданием». К тому же говорят, что она совершенно здорова.

– В самом деле, ей уже девятнадцать лет! А я все еще считаю ее ребенком. Пока я находился под высочайшим покровительством, то должен был всегда ездить на каникулы в Гунтерсберг, и единственным утешением для меня было то, что в это же время в Оттендорф приезжал ты, и мы бывали вместе. Но в доме мы не смели и шевельнуться, когда Сильвия бывала больна, а больна она была почти постоянно; ей вредил малейший сквозняк, всякое волнение расстраивало ей нервы. При этом отец боготворил ее. По отношению к жене он был всегда лишь холодным, корректным супругом, выполняющим свой долг, а все чувства он изливал на этого заморыша. Я никогда не мог понять этого. Неужели Сильвия, в самом деле, теперь здорова?

– По крайней мере, так говорят. Я не видел Сильвии с детства, но папа уверяет, что она расцвела за последние три-четыре года, хотя, вероятно, навсегда останется тепличным растением, которое никогда не сможет переносить настоящий, свежий воздух жизни. Во всяком случае, ее выздоровление – факт, и ходят слухи, что она выходит замуж.

– Неужели? Сильвия не представляет так называемой выгодной партии. Прав на Гунтерсберг у нее нет, а кроме имени у дяди, насколько я знаю, нет состояния, о котором стоило бы говорить. Хотя быть зятем министра что-нибудь да значит – можно сделать карьеру. Наверно, найдется человек, который сумеет учесть это и возьмет «тепличное растение».

– Ты сильно ошибаешься, – засмеялся Курт. – Дядя Гоэнфельс мечтает надеть княжескую корону.

– Княжескую корону? Ты подразумеваешь Зассенбурга?

– Конечно. Об этом говорили еще весной, когда он был в Гунтерсберге, а это приглашение принца и то, что его приняли, подтверждают слухи.

– Но ведь принцу за сорок! Он почти на тридцать лет старше Сильвии.

– Этого министр, разумеется, не принимает в расчет; для него важно только то, что это блестящая партия, а Сильвия, надо полагать, будет одного мнения с ним. Другие же препятствия едва ли найдутся. Принц Альфред принадлежит к побочной линии царствующего дома и не обязан учитывать какие-либо династические соображения... Он очень богат, вполне неза-

висим, а вы, древние потомственные дворяне. Папа даже думает, что это уже вполне решенное дело и поездка, кроме цели, о которой говорят, имеет еще и другую, тайную: дать жениху и невесте случай видаться ежедневно и без свидетелей.

– Ну, в таком случае честолюбие дяди будет, наконец удовлетворено! Его имя угаснет, но, по крайней мере, под княжеским гербом. Кто бы мог подумать, что Сильвия сделает такую партию!

– Пока это только слухи, – сказал Курт, желая прекратить разговор. – Кто знает, подтвердятся ли они. Мне хочется поближе познакомиться с твоим кильским молодцом. Он уже давно стоит там и ждет, чтобы я заговорил с ним. Надо доставить ему это удовольствие.

В самом деле, управившись с работой, Христиан Кунц поспешил вернуться на палубу; все его лицо сияло, когда лейтенант Фернштейн подошел к нему. Он сразу отдал ему честь.

– Очень хорошо! Совсем по уставу! – похвалил его молодой офицер. – Где ты этому научился? Ведь, говорят, ты еще не был на службе.

– У брата, – ответил он с гордостью. – Мой брат Генрих служит матросом на «Фетиде», и я, собственно говоря, собирался тоже поступить туда юнгой.

– А вместо этого попал на «Фрею» и отправился в Норвегию. Нравится тебе здесь?

– О, конечно! Работа легкая и жалованье хорошее... и господин капитан очень добр ко мне. Так хорошо мне нигде бы не было. И Генрих считает, что мне выпало большое счастье, я буду избавлен от тяжелой жизни корабельного юнги; по словам брата, им круто приходится. И отец тоже так думает. Да, мне здесь очень нравится.

– Если бы только не тоска по родине, – сказал Курт, не сводя зоркого взгляда с лица матроса.

– Да... если бы только не тоска по родине, – ответил тот решительно. – Иной раз так защемят сердце. Господин капитан говорит, что это мои выдумки; ведь если бы я служил на флоте, то никогда не бывал бы дома. Конечно, он прав, но только он один и говорит здесь со мной по-немецки. Иначе мы оба разучились бы говорить на родном языке.

– Но ведь ты можешь все-таки объясняться со своими товарищами? – лейтенант указал на двух матросов, ждавших разрешения сойти на берег.

– Могу, – ответил Христиан довольно уныло. – Объясняться то я научился, но какое удовольствие говорить с чужими? Они разбираются только в своем ремесле, но во всем остальном Нильс – баран, а Олаф – медведь, и разговаривать они оба не охотники. Только я заговорю, сейчас же окрик: «Не болтай! Делай свое дело!» Как будто Господь дал человеку рот для того, чтобы он молчал! Здесь, в Рансдале, никто не знает, что значит быть веселым. У нас в Киле не так!

– Ну так радуйся, – утешил его Курт. – На следующей неделе сюда придет «Орел», немецкое судно с немецким экипажем, за исключением норвежца-штурмана. Вот ты и наговоришься с земляками.

– «Орел»? – Христиан подскочил, словно от электрического удара. – Это правда, господин лейтенант? О, я хорошо его знаю, он был уже здесь прошлым летом и простоял в нашем фиорде целый месяц.

– Вероятно, так будет и на этот раз, потому что принц Зассенбург опять будет жить здесь в горах, в своем охотничьем замке. Кроме того, на «Орле» едут близкие родственники твоего капитана. Ты, может быть, слышал о министре Гоэнфельсе в Берлине?

– Как же мне не знать нашего министра? Генрих говорит: «Вот это человек! Нам таких и надо. Он достойно представляет государство и за его пределами, и внутри». И отец тоже говорит...

– Ну, так его превосходительство едет с дочерью в Рансдаль в качестве гостя принца, и «Фрее», конечно, придется по этому случаю поднять немецкий флаг. Я вижу, у вас висит норвежский.

Лицо Христиана вдруг стало серьезным и унылым: он, точно пристыженный, опустил голову.

– У нас совсем нет немецкого флага, – сокрушенно признался он.

– Как! Даже для приветствия?

– Да. Господин капитан говорит, что «Фрея» – норвежское судно и должна ходить только под норвежским флагом.

Курт промолчал, но взгляд, брошенный на товарища, был далеко не дружелюбен. Наконец он сказал равнодушно:

– Господин Гоэнфельс вырос в Рандале. Все его воспоминания детства и юности связаны с Норвегией, и потому он избрал ее своим отечеством.

Бернгард все еще стоял у руля, спиной к ним. Он был очень взволнован и старался не показывать этого. Ему казалось, что он раз и навсегда покончил с прошлым и с дядей, когда своим выходом в отставку оскорбил его, когда вырвался из того мира принуждения и всевозможных формальностей, из «рабства» службы ради удовлетворения своего необузданного влечения к свободе. Теперь он уже целый год пользовался этой неограниченной свободой, и, тем не менее, можно было прочесть следы внутренней борьбы на его лице, во взгляде, устремленном туда, где был выход из фиорда в море. Там был покинутый, отвергнутый им мир! Ведь он сам ушел из него, как сделал когда-то его отец, но теперь этот мир посылал к нему гонца в его далекую пустыню. С приходом судна и тех, кого он вез на своем борту, нахлынули воспоминания из прошлого: все порванные нити вновь завязывались. Бернгард стиснул зубы: всей своей мятежной душой восставал он против этих воспоминаний и этого прошлого. В самом ли деле он их так ненавидел? Или же он их... боялся?

8

В Рансдале все пришло в движение, потому что около полудня должна была прибыть яхта принца Зассенбурга. Вообще рансдалцы были весьма равнодушны к тем, кто прибывал извне, но, будучи большей частью моряками, они интересовались всяким судном, а «Орел» к тому же был в последние пять-шесть лет неизменным гостем в их водах. В течение нескольких недель стоянки команда, конечно, бывала на берегу и вступала в некоторое общение с местными жителями. Образ жизни принца в его охотничьем замке отличался аристократической замкнутостью – обитатели Альфгейма держались обособленно. Несмотря на это приход яхты был событием для Рансдаля, в котором стояли большей частью только рыболовные суда: даже появление парходика, ходившего два раза в неделю, казалось уже чем-то особенным: это было приятное нарушение будничного однообразия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.